

Алексей Иванович Дьяченко

Люблю



Алексей Дьяченко

Люблю

«Издательские решения»

Дьяченко А.

Люблю / А. Дьяченко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-746821-7

Роман «Люблю» — прежде всего психологическая книга. Образец классической литературы, сочетающий в себе глубину чувств, сокровенность с истинно русским размахом. Герои книги — молодые люди. У каждого своя история, полная нежности и драматизма, добавляющая красок и остроты, но не выбивающаяся из канвы повествования. Первые опыты общения с противоположным полом, соблазны, страсти и, как следствие, страдания. Душевные борения, преодоление страстей и подведение итогов.

ISBN 978-5-44-746821-7

© Дьяченко А.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Часть первая	28
Часть вторая	56
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Люблю

Алексей Дьяченко

© Алексей Дьяченко, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Павел Пospelов

1

Чай пили с клубничным пирогом. На столе было варенье, мармелад и печенье. Звали на чаепитие и Евфросинию Герасимовну, но она, обычно отзывчивая в таких делах, на этот раз от приглашения отказалась. Впрочем, кусок пирога Галина ей отнесла.

За столом сидели молча, каждый думал о своём. Максим о Жанне, Степан о Марине, Карл о Галине, Галина о Карле.

Анна радовалась тому, что всё закончилось благополучно, все живы-здоровы и Фёдору, сидящему с ней рядом, не нужно переживать. О том, что ему предстоит завтра, она не знала. Она не думала о том, как будут развиваться и складываться их отношения, точно знала только одно, – что никогда не бросит этого человека и всегда, по первой его просьбе, придёт к нему на помощь.

Так же думала и о детях, сидящих у них с Фёдором на коленях, и о Матрёне Васильевне, и о Медведице, и о Пистолете, и о сестре. Обо всех, кому, хоть чем-нибудь, могла бы быть полезной.

Сидящий с ней рядом Фёдор, старался ни о чём не думать. Слишком много забот навалилось с утра. И это почти получилось, но лицо больного, потерявшего силы Пашки, так и стояло перед глазами.

«Надо быть рядом с ним, – думал Фёдор. – Сейчас немного отдохну и пойду».

Дети, сидевшие на коленях у Анны и Фёдора, беспрестанно шалили. Они объелись пирогом и занимались тем, что опускали пальцы в варенье, мазали этим вареньем носы, а затем друг у друга с носа это варенье слизывали.

Им было весело, они беспрестанно смеялись. Впереди у них была целая жизнь, казавшаяся большой и красивой, похожей на стол, за которым сидели, в которой всегда будет вдоволь клубничных пирогов, варенья, мармелада, а главное, – добрых людей. И они были правы.

2

История, которую хочу рассказать, началась 13 июня 1987 года. Придя домой поздно вечером, Пашка с порога услышал праздничный шум в родительской комнате, почувствовал запах застолья. Спрятав ключ от входной двери в карман брюк, он стал на цыпочках пробираться к себе.

– Да говорю, Павло, – доносилось из-за стола, и вскоре Пашка увидел перед собой мать.

– Ну, что я говорила, пожаловал! – Крикнула она гостям и, приглушая голос, добавила. – Фу, провонял, как чёрт. Костёр опять жёг? Смотри, поджигатель – поймают, пришлют штраф, сама тебя подожгу. Чего стоишь? Иди к гостям.

– К экзамену надо готовиться, – попробовал он отказаться.

– Надо же, вспомнил. К экзамену ему нужно готовиться. Все ждут его, не расходятся, а он тут заявления будет делать.

– Зачем меня ждать?

– Затем. Интересно. Все хотят посмотреть на встречу.

– Какую встречу?

– Торжественную. Иди, узнаешь.

Робко ступая, Пашка вошёл в комнату, где за накрытым по поводу наступающего Дня Медика столом сидели гости. Это были знакомые матери, с которыми она в мае месяце познакомилась на курорте, и её коллеги по работе. Все были пьяны, галдели, гремели ножами и вилками, и от дыма сигарет не видели друг друга. Заметив Пашку, загалдели громче, кое-кто даже затопал ногами. Он смущённо улыбнулся и опустил глаза.

– Вот и сам, – торжественно произнёс Пацкань, Пашкин отчим, который был особенно пьян и против обыкновения даже не встал из-за стола, говоря своё знаменитое «Прошу наливать, буду речь держать».

Гости засуетились, стали хватать со стола бутылки и разливать их содержимое по стаканам и рюмкам. Подняв, до краёв наполненный, стакан, отчим терпеливо ждал.

– Все что ли? – Спросил он.

– Да. Давно уже. Готовы! – Неровно отвечали гости.

– Тогда контакт! – Приказал Пацкань, опуская свой стакан и касаясь им края стола.

Все последовали его примеру, каждый в свою очередь рапортуя:

– Есть. Есть контакт.

– Нет. Я вижу – там нет контакта! – Строго следил тостующий красными, как у окуня, глазами. – Вижу, нет! А, теперь, есть! Теперь, вижу, что есть!

– Речь, Фарфорыч. Давай речь! – Требовал сидевший напротив командовавшего, Мирона Христофоровича, его двоюродный брат Глухарёв.

Глухарёва поддержали, и, как ни тяжело было подниматься напившемуся отчиму, он всё же встал. Впрочем, сделал это не из уважения к обществу и не из-за торжественности тоста, а от того, что понял: сидя содержимое стакана в него не войдёт.

Речь, которую так ждали, говорить не стал. Прошептав: «За встречу», просто опрокинул стакан. Гости последовали его примеру.

Предчувствие отчима не обмануло, водка не пошла, не помогло даже вставание. Запрокинув голову и прогнувшись, как солдат, получивший пулю в спину, Мирон Христофорович, привлёк к себе внимание сидящего рядом мужчины пощёлкиванием пальцев, и получил заранее приготовленный бутерброд, состоящий из куска чёрного хлеба и толстого слоя горчицы. Пока отчим его пережёвывал, Глухарев, восседавший напротив, затрясся от смеха.

– Чего хохочешь? – Спросил Пацкань, слабым голосом. – Сейчас фонтаном бы, да всё на тебя. Устроил бы День Победы, с салютом из винегрета.

– Не пошла? – С неожиданным участием, осведомился Глухарёв.

– Легла зараза, – стал объяснять Пацкань. – Вот туда-сюда и гонял.

Пашку посадили за стол с краю, на самый угол. Только сидя за столом, после перебранки отчима с Глухарёвым, он, как следует, вдумался в смысл слов, вертевших на пьяных языках и понял, о чём шла речь.

«Как же так? – Думал он. – Я, всю жизнь только и ждавший этого часа. Десять лет о встрече мечтавший, стороживший каждую минуту, вдруг взял да прозевал».

С волнением и тревогой он стал осматривать гостей и нашёл его, бесконечно далёкого и такого близкого, своего дорогого, родного отца.

Отец, как оказалось, сидел рядом, смотрел на сына и молча плакал. Представляя эту встречу тысячу раз, с объятиями, поцелуями, сердечными словами, Пашка видел, что случилось всё не так. При чужих людях, напоказ, под тосты. Он боялся: «А вдруг отец что-нибудь спросит и придётся отвечать». Чувствовал, что говорить не сможет, а если и сможет, то, раздается. Но отец, стирал катившиеся по щекам слёзы, и спрашивать ни о чём не собирался.

– Обними же отца! – Крикнул отчим с другого края стола и, извиняясь перед седым человеком, который от его крика вздрогнул, сказал. – Он робкий у нас. Но, не беда. Вам в одной комнате ночевать, успеете поболтать. Правда, у Павла завтра экзамен, и ему не болтать, а выспаться надо. Да, о чём это я? А, всё равно. Не знаю, как жена, а я вам рад. А вы

куда? – Меня объект внимания, грубо обратился он к гостям, поднимавшимся из-за стола и собиравшимся уходить.

– Ну, ладно, – смягчился он после замечания жены, сказавшей «не груби», – пойдёте, успеете, никто силком не держит. Но без посоха не отпущу. Давайте, наливайте, можно стоя. На посошок, чтобы легче шагалось!

Гости повиновались, наливали и стоя ждали, держа наполненные ёмкости в руках.

– За встречу отца и сына, – ободрившись к концу застолья, сказал отчим.

– И святого духа, – вставила тётка с двумя подбородками и залилась звонким продолжительным смехом. Многие последовали её примеру.

Оставшись с отцом наедине, Пашка молчал, не решаясь заговорить. Он не видел отца десять лет и представлял его другим. Расставшись в раннем детстве, запомнил отца молодым, черноволосым. И очень удивился, увидев старым, седым.

Но не только это смущало. Он хотел отца о многом расспросить, рассказать ему своё. А как начать? С чего? В этом и заключалась главная, нерешимая, задача.

Комната, в которой они находились, была небольшая и принадлежала когда-то бабушке. После её смерти в комнате практически ничего не изменилось. Осталась допотопная тахта, с откидными валиками и жёсткими подушками, заменяющими спинку. Тёмный, почерневший от времени комод, с громоздкими ящиками для белья и такая же старая тумбочка, на которой стоял огромный ламповый приёмник. Стену над тахтой закрывал ковёр с изображением картины «Охотники на привале». В углу, под потолком, на полочке, икона Спасителя. С приходом Пашки в комнате появился письменный стол, два жёстких стула и политическая карта мира, облюбовавшая свободную стену.

– Будем спать? – Спросил отец, нарушая тишину.

– Да, – согласился Пашка и, достав бельё из комода, стал стелить постель.

Наблюдавший за ним отец, тяжело вздохнул и сказал:

– Жизнь прожил, а стою перед тобой гол, как сокол. Ничего нет, кроме креста нательного. Даже на память оставить нечего.

– А крест? – Неожиданно для себя, сказал Пашка и тут же, покраснев до корней волос, отвернулся.

Отец снял с себя медный, позеленевший, выдавший виды нательный крестик, и собственноручно одел его на сына. Пашка расцвёл на глазах и тут же, осмелев, спросил:

– У Макеевых ещё не были? Давайте, завтра вместе пойдём?

Отец светло улыбнулся и ответил:

– Теперь только вместе.

3

Экзамен по устной математике принимала Трубадунова, преподаватель алгебры и геометрии в старших классах, по совместительству занимавшая должность заведующей учебной частью.

Русский язык, устный и письменный, Пашка благополучно сдал. По геометрии, математике письменной, проблем так же не возникло. Написав варианты на доске, Трубадунова ушла из класса и два часа не показывалась. Все воспользовались шпаргалками. Те, кто шпаргалок не заготовил, списали у тех, кто их имел. Всё говорило за то, что учитель не собирается никого топить, тем более класс «Б», сдавший устную математику, со смехом рассказывал, как их, лоботрясов, изо всех сил тянули за уши.

Успешно решив задачи и примеры, предложенные по билету, Пашка спокойно дожидался очереди. Перед ним были Маргулин и Кочерыгин. Оба сидели на первых партах и на вопросы учителя о готовности отвечали «Нет». Потеряв терпение, Тамара Андреевна подошла к парте,

за которой сидел Маргулин, посмотрела на его чистый лист и, разминая пальцами переносицу, села с ним рядом.

– Нарисуй-ка ромб, – попросила она, тяжело вздыхая.

– Чего? – Как бы просыпаясь и не понимая спросонья, чего от него хотят, переспросил

Маргулин.

– Ромб, ромб, – сдерживая раздражение, повторила учительница.

– Ромб? Это, пожалуйста, – с вызовом в голосе, ответил он и принялся за работу.

Пашка видел, как Маргулин, сидевший прямо перед ним, нетвёрдой рукой обвёл одну из клеточек, в которые был разлинован тетрадный лист, из чего получился крохотный квадратик. Тяжело задышав, взяв лист в руки и повернув его так, чтобы квадратик можно было видеть стоящим на одном из углов, учительница сказала:

– Ну, что ж. В общем-то, верно.

Она шепотом спросила о чём-то у экзаменуемого, на что тот ответил: «Хочу в ПТУ попробовать», и вынесла свой вердикт:

– Ставлю тебе тройку. Иди и не попадайся мне на глаза. С первой стипендии купишь мешок семечек.

Встав, чтобы подойти к такому же чистому листу, лежащему на парте перед Кочерыгиным, Тамара Андреевна обернулась, заметила у Пашки цепочку, и, еле сдерживая гнев, спросила:

– Что это, Пospelов, у тебя на шее висит?

Не дожидаясь ответа, она попыталась расстегнуть пуговицу на рубашке, но вместо этого оторвала её.

– Зашьёшь, я не специально, – прошипела она и, забравшись под рубашку, взяла грубой рукой крест.

Мысль о том, что крестик, подаренный отцом, окажется в чужих руках, подвигнула Пашку взяться за руку учительницы.

– Не бойся, Пospelов, не отниму, – сказала Тамара Андреевна, изо всех сил сдерживая злобу.

Выпустив крест, и, несколько раз громко чихнув, она зашла в нравоучении:

– Добро бы, верили. Ещё можно было бы понять. А то наденут, из-за того, что мода пришла. Ну, скажи, Пospelов, что тебе в нём? Ты, что в Бога веришь? Ну, давай, скажи: «Я, Тамара Андреевна, верю в Бога», и я отстану, и больше слова не скажу. Молчишь?

– Это бабуля ему повесила, на счастье, – заступился за Пашку весёлый и ещё не ушедший Маргулин.

– Что? На счастье? – Переспросила Дубадурова у заступившегося и, стараясь говорить равнодушно, продолжала. – Это не поможет. Я лично ни в каком качестве крест принять не могу. Понимаю, когда носят медальон с маленькой фотографией матери или с фотографией любимой. Это естественно. А – это. – Она показала пальцем Пашке на грудь. – За это, – повторила она, исправляясь и возвышая голос, будучи не в состоянии более сдерживаться. – За это я ставлю тебе «два» и ты мне будешь ходить пересдавать и всякий раз говорить так: «Вот я пришёл без креста. Показываю. Разрешите, Тамара Андреевна, взять билет?». И когда увижу и своими собственными глазами, убежусь... Убежусь... Как правильно? Когда я увижу, что пришёл ты на экзамен, как нормальный человек, с чистой грудью и без всякой дребедени, висящей на шее. Вот тогда буду с тобой разговаривать. А сейчас – давай, иди домой и скажи своей бабушке спасибо. И знай, что «двойку» поставила не за математику, а за крест. И то, что ты тут на листке наколесовал, можешь взять с собой на память!

Окликнув Пашку ещё раз у самой двери, разошедшаяся завуч добавила:

– Так ты понял, Пospelов, что должен дома сказать? Ты должен подойти к тому, кто повесил крест тебе на шею, бабушка ли это или соседка, меня это не интересует, и сказать, что Тамара Андреевна за крест поставила «два».

Всё произошло так стремительно, что казалось неправдоподобным. Выйдя из класса, Пашка долго ещё стоял и перебирал в уме детали случившегося, а о том, что всё было не во сне, говорила оторванная пуговица.

Из раздумий его вывел Марков, получивший за экзамен «пять». Он прибывал в весёлом настроении и собирался зайти к тётке, жившей в одном доме с Пашкой. Когда-то их объединяло общее увлечение, оба коллекционировали марки. Но, с тех пор, как Пашка это увлечение оставил и перестал ездить вместе с Марковым на толкучку к «Филателии», они отделились друг от друга. Друзьями же никогда не были. Временами Марков по привычке приходил и показывал новые приобретения, уговаривал кое-чем обменяться, и так в одно время зачастил, что Пашка был вынужден, для того чтобы избавиться от его назойливости, подарить ему все свои марки вместе с альбомом.

Марков переходил в новую школу, со специальным языковым уклоном и день экзаменов, был последним днём их совместного обучения.

Всю дорогу от школы до дома Марков ругал Трубадунову последними словами и, прощаясь, уверял, что она подохнет, как собака в яме.

– Это я тебе говорю, – весело крикнул он, отбежав несколько шагов по направлению к тёткиному подъезду.

Пашка кивнул, демонстрируя товарищу, что утешения не прошли впустую, и поднялся к себе.

4

Скинув в прихожей ботинки, поискав и не найдя тапочки, он в носках вошёл в комнату. Отец ещё спал. «Наверно, сильно устал, до нас добираясь», – решил Пашка и представил неудобную, длинную дорогу, выпавшую отцу.

Пётр Петрович лёг, не раздеваясь, ближе к стене, чтобы не мешать Пашке утром. Лёг на спину и в таком положении оставался до сих пор.

– Я тебя утром проводила, – раздался за спиной голос матери, – зашла, чтобы его разбудить, а он уже – всё. Думала, крепко спит, хотела растолкать, дотронулась, а он холодный. Повезло. Хорошая, лёгкая смерть, уснул и не проснулся.

Всё это Лидия Львовна говорила стоя у Пашки за спиной, и при этом щёлкала семечки.

Пашка от услышанного остолбенел, матери не поверил. Он был уверен, что она обманывает. «Она всегда так поступает. Всегда делает больно. И теперь решила посмеяться, потому что знает – с ней я не останусь. Мы будем жить вдвоём с отцом. Обманывает, – думал он. – Ведь я вижу, отец дышит, у него поднимается грудь, шевелятся губы, рука. Она обманывает, потому что знает – нам сегодня идти к Макеевым. Вот и злится. Но отца нужно будить. Как ни устал он в дороге, надо поднять, доказать ей, что она обманывает».

Пашка подошёл к лежащему на тахте отцу и тихо позвал:

– Пап, ты меня слышишь? Ты спишь? Вставай. Помнишь, мы сегодня хотели к Макеевым идти?

Мать, продолжавшая стоять в дверном проёме и поначалу приснувшая смешком, как только услышала о Макеевых, смеяться перестала, свернула кулёк с семечками и спрятала в карман.

– Ну, ты что, глухой? – Сказала она. – Или слов русских не понимаешь? Я же сказала – помер твой отец. Возмись, дотронься. Из него всё тепло уже вышло. Холодный, как ледышка, видишь, окоченел.

Пашка с удвоенным напряжением стал всматриваться и ясно увидел, что грудь у отца поднимается и опускается, а губы шевелятся.

«Вот верхняя губа приподнялась, – думал он, – а вот опустилась. Живой! Она обманывает». Пашка протянул руку для того, чтобы пальцами закрыть ему нос. «Дышать будет нечем, и проснётся», – решил он, и вдруг, коснувшись нечаянно мизинцем отцовской щеки, со страхом, как будто обжёгся, отнял руку и, прижимая её к груди, понял, ощутил всем существом, что на этот раз мать не солгала. «А как же я? – Мысленно спрашивал он у отца. – Да, и разве можно так умирать, лёг спать и не проснулся».

– Ты бы заплакал, как полагается, – сказала мать, вынимая из кармана кулёк, – бессердечным растёшь.

Она поглядела на сына с упреком и как бы между прочим спросила о том единственном, что могло её ещё в нём интересовать:

– По экзамену-то что получил?

– Двойку, – помолчав, ответил Пашка, не сводя глаз с отца.

Мать вскрикнула и, схватившись руками за грудь, словно её ножом кольнули, из рук на пол посыпались очистки и семечки, запричитала, – Как же я людям об этом скажу? Как на работу пойду? У меня спросят... Пстой, ты за отца мстишь? Обманываешь?

– Нет. Двойка. За крест поставили, – сказал Пашка, стараясь смотреть в глаза матери, пытаясь уловить прыгающие её зрачки, пытливо всматривающиеся то в один его глаз, то в другой.

– Какой ещё крест? – Вскричала мать. – Ты что, с ума сошёл?

Она схватила сына за волосы, повалила на пол и стала бить ладонями по телу и лицу.

– Ах, ты, гадёныш! Как же тебя из школы рассчитывать будут? Восемь лет ходил туда и всё насмарку – волчий билет! Куда ж тебя с «двойкой» возьмут, дурака? Ни в какую тюрьму, ни на завод, никуда не примут! Ах, ты, гад! Скотина! – приговаривала она себе в помощь.

Приёмная Пашкина сестра, дочь Пацканя, учившаяся в специальном интернате, в классе коррекции, для детей с заторможенной психикой, и по причине простудной болезни не поехавшая с интернатом на дачу, видя, как брата бьют, по-детски открыто радовалась, и издавала звуки «гы-гы», что было у неё вместо смеха.

Пытаясь уйти от побоев и как-то высвободиться, Пашка рванулся. Лидия Львовна ухватившись за рубашку, порвала её. Тут-то родительскому взору и предстал крест. Но, на Пашкино счастье, мать успела уже забыть, в чём был крест виноват, на всякий же случай, припоминая, что что-то нехорошее с ним связано, она сорвала его и вместе с цепочкой бросила на пол. Ей было не до креста. Её ярость получила новую пищу в лице разорвавшейся рубашки, за что она с новой силой на сына и накинута.

– Праздничная! Белая! Она же одна у тебя. В чём к людям теперь пойдёшь? Убить, гада, мало!

Она схватила сына за волосы и, решив, что не совсем удобно бить сына в комнате, в которой лежит его мёртвый отец, потащила в другую, где в сопровождении бранных слов, избиение продолжилось.

Милка подобрала крест с цепочкой, осмотрела и то и другое, цепочку оставила себе, а крест отнесла на кухню и бросила в мусорное ведро.

Побив сына всласть, и устав от этого занятия, Лидия Львовна выпила водки и легла спать.

Пашка, смыл с разбитой губы кровь, вернулся в свою комнату и стал искать крест.

– Милка, крест не видела? – Спросил он сестру, заглянувшую в комнату.

– Видела, не видела – тебе не скажу – гримасничая, ответила она.

– Скажи, – слабым голосом попросил он. У сестры внутри что-то дрогнуло.

– Его мама в помойку выбросила, – сказала Милка и, разжав кулак, показала цепочку.

Показав, тут же спрятала, опасаясь того, что брат цепочку у неё отнимет.

Пашка пошёл на кухню и отыскивал свою пропажу. Отнимать у Милки цепочку не стал, обошёлся суровой ниткой, с успехом её заменившую. И, только ощутив на разгорячённой груди холодок металла, он облегчённо вздохнул и успокоился, насколько это было возможно в его положении.

После того как Лидия Львовна проснулась, проспав ровно полчаса, она приняла надлежащие меры, чтобы убрать тело бывшего мужа из дома. В тот же день тело покойного перевезли в больничный морг.

Друг юности отца, вместе с ним учившийся и работавший, узнав о смерти Петра Петровича от Пацканя, все хлопоты взял на себя. Прихватив на всякий случай Пашку, стал ездить и улаживать дела. Пашке пришлось с отцовским другом юности, которого звали дядя Коля Кирькс, поехать на приём к главному похоронщику, сидевшему в переулке не далеко от Кремля, в чьём подчинении находились все кладбища и могильщики. В его приёмной дядя Коля, дрожащей рукой написал прошение, в котором просил продать гроб. Главный быстро расписался, поставил печать и направил в контору, располагавшуюся недалеко от Москвы-реки. В той конторе на прошении появились новые подписи, печати и номер магазина, в котором были обязаны гроб продать. Магазин находился на территории Ваганьковского кладбища.

Прямо от конторы дядя Коля Кирькс позвонил в гараж, где был заведующим, и сказал:
– Езжайте на Ваганьково.

Как стало потом известно, он, заранее всё обговорив, выговорил для этого случая грузовую машину с крытым брезентовым кузовом и в придачу трёх молодцов. Войдя в магазин, находящийся на территории Ваганьковского кладбища, торговавший всем необходимым для похорон, дядя Коля спросил у Пашки, какой гроб покупать. Пашка показал на самый дешёвый, обтянутый красным сатином, стоявший 19 рублей. Кирькс с ним согласился, но гроб на Ваганьково им не продали, отослали на Минаевский рынок.

На Минаевский рынок ни Пашка, ни отцовский друг не поехали, отправились одни молодцы. В их обязанность входило взять гроб, заехать за телом, а затем подъезжать к известному им больничному моргу. Пашка же с дядей Колей отправился сразу в больницу, чтобы договориться обо всём с главным врачом, на что имелась специальная записка от Лидии Львовны.

Главного врача на месте не оказалось, заместителю записка оказалась не указ, и только после его звонка главврачу на дом и перечтении написанного в ней, Пашке и дяде Коле было дано разрешение поставить гроб с покойным в больничный морг.

Грузовую машину с телом Петра Петровича ждали долго, заминка произошла на Минаевском рынке. К приезду машины морг работу закончил, и ключи от него покоились у дежурной медсестры. Когда тело привезли и Пашка прибежал к ней, затем, чтобы она шла и открывала, медсестра, разговаривавшая в это время по телефону, на секунду оторвавшись от трубки, объяснила, какой ключ от какой двери, а сама открывать не пошла. Пашка сам отпирал и сам открывал обитую оцинкованным железом массивную дверь, и сам же, с помощью дяди Коли и двух молодцов (третий сказал, что боится и заперся в кабине машины) вносил гроб в помещение, ставил его на кафельный пол. Гроб показался непосильно тяжёлым. Мальчишки, сидевшие и курившие на скамейке, стоявшей не далеко от морга, подбежали к открытой двери и стали с интересом заглядывать внутрь, стараясь высмотреть что там и как. Заметив такое чрезмерное любопытство, молодец, отказавшийся вносить гроб, выскочил из кабины и матерно ругаясь, прогнал их. Дав молодцам по десять рублей из своего кармана и поблагодарив, Кирькс отпустил машину.

На другой день Пашка со справкой, выданной ему заместителем главного врача и с паспортом отца, поехал в ту самую контору, что располагалась недалеко от Москвы-реки, и в обмен на справку и паспорт получил «Свидетельство о смерти». Сразу после этого был вызван похоронный агент, сутулый не красивый человек в очках с тёмными стёклами и с при-

ятным, не подходящим его внешности голосом. Он оформил все необходимые бумаги касательно места на кладбище и траурного автобуса, показывал альбом с цветными фотографиями, на которых красовались надгробия, уговаривал нанять музыкантов, мотивируя это тем, что с музыкой будет легче.

– Похоронный марш, – говорил он, – только для постороннего уха противен, а для тех, кто в горе – это подмога, утешение, помогает выплакаться, успокаивает.

Агенту не поверили, и он, сдав сдачу до копейки, ушёл.

После его ухода, Пашке дали новое задание. Съездить на Ваганьково и купить всё необходимое из мелочей, что полагается для человека, уходящего в последний путь. На это он получил двести рублей в двадцатипятирублёвых купюрах.

В магазине сдачу сдавать не захотели. Вместо семи рублей, которые ему причитались, продавщица красноречиво показала стопку одних четвертных билетов, что по её мнению должно было всё объяснить и исключить всякий спор на подобную тему.

– Совести у вас нет, вы же старая женщина, вам самой скоро умирать, – сказал стоявший за Пашкой мужчина и хотел было ещё посовестить бессовестную, но сдержался и обратился к Пospelову. – Погоди, паренёк. У меня есть мелкие, я тебе разменяю.

Вернувшись домой, Пашка увидел ящики с водкой, стоявшие на кухне, купленные под «свидетельство о смерти» отчимом и дядей Колей Кирькс. Водка была «Столичная» в бутылках по восемьсот пятьдесят грамм, одну из которых открыли для ужина.

– Зачем столько? – Спросил Пашка, удивляясь.

– Не твоего ума дело, – закричал Пацкань, сидевший за столом вместе с матерью, дядей Колей Кирькс и Полиной Петровной Макеевой, которая не ела, не пила и, увидев Пашку, тотчас расплакалась.

– Павлик, миленький, где же ты был? – Говорила она, подходя к нему и стирая с глаз слёзы. – Я всё ждала тебя, дожидаться не могла. Переживала.

– Вчера в морг ездил, гроб заносил. А сегодня в магазине был. Зачем вам не сказали? И я уже большой, крёстная, не надо за меня волноваться.

Пашка говорил дрожащим голосом, чувствуя в себе нарастающее желание заплакать.

– Как, гроб заносил? – Спросила Полина Петровна. – Сам нёс? Нельзя близким родственникам.

Полина Петровна посмотрела на Лидию Львовну и та, чувствуя себя виноватой, голосом, которого давно уже Пашка не слышал, тихо сказала:

– Не смотри так, Полина. Кому же, как не сыну?

– Да. Нашей вины нет. Всё неожиданно случилось, – поддерживая жену, добавил отчим и стал пасынку отвечать на вопрос, задевший его за живое.

– Вот ты спрашиваешь, водка зачем? Спрашиваешь, не подумав. А, к примеру, если люди придут, что, Павел, я на стол им поставлю? Запомни, Павел, нельзя перед людьми лицом в грязь падать. Нельзя никогда, ни в каком случае.

Два месяца назад у Пашки умерла бабушка, единственный человек в доме, который его понимал. Первым ударом после её смерти было для него увидеть Лидию Львовну, жадно обыскивающую бездыханное тело своей матери. «У неё золото должно быть, и крест серебряный, тяжелый», – кинула она в своё оправдание. Золота и серебра не нашла, а сына своего в тот день потеряла.

На бабушкиных похоронах Пацкань напился так, что упал в выкопанную могилу. Пашка этого не видел, рассказывали. А, на поминках пел и не раз порывался пуститься в пляс. В тот же день вечером, в комнату, отданную Пашке, зашла целая ватага из числа пришедших помянуть, и, не стесняясь его присутствием, стала делить то, что после бабушки осталось.

Делить особенно было нечего, но так пришедшим этого хотелось, что никак не возможно было без этого обойтись. Родная сестра Лидии Львовны, прилетевшая на похороны аж из Бла-

говещенска, не могла же вернуться домой с пустыми руками. Забрала шёлковые занавески и капроновую тюль. Кто-то забрал фарфорового воробья, стоящего на трюмо, кто-то трюмо, напольный коврик и люстру. Словом, кому что досталось.

Пацкань в разделе имущества тоже принимал живейшее участие, а так как ничего теще не дарил и забирать назад было нечего, да и куда забирать из собственного дома, то по разделу, самым серьёзным образом, получил старое, потёртое бабушкино платье. У находившейся на поминках Тоси, жены Глухарёва, он тут же, со свойственной ему практичностью, стал спрашивать, что из этого платья можно сделать.

– Брюки сошьёшь?

– Не получится, – прикидывая платье к ногам Мирона Христофорыча, серьёзно отвечала Тося, – материала не хватит.

– А трусы?

– Для трусов материал не подходящий. Хотя можно попробовать.

– Попробуй. Да? Попробуешь?

Этот разговор стал для Пашки последней каплей. Он тихо вышел из комнаты, оделся и побежал к Макеевым. В тот же день у него поднялась температура, он заболел и ночевал у них. Утром за ним пришла Лидия Львовна.

– Домой не вернусь, – при всех сказал он.

И пока температура не спала, действительно жил у крёстной. Но, как только температура прошла, его стали убеждать и уговаривать вернуться к матери, на что пришлось ответить рассказом про бабушкино платье, которое пошло отчиму на трусы.

После рассказа от него отстали, а Полина Петровна имела с пришедшей за ним матерью, долгий разговор, который закончился ссорой, угрозами Лидии Львовны прийти в другой раз с милицией и хлопаньем дверью. Угрозы её никого не напугали, но когда, через день Лидия Львовна пришла за ним во второй раз, то все в семье Макеевых как-то виновато молчали, а она чувствовала себя победительницей. Галина, дочь Полины Петровны, его двоюродная сестра, сказала, что жить ему надо дома, у матери, что у него теперь своя комната, и никто не будет мешать.

– Не упрямясь, Пашкин, ты не маленький, – такими словами сестра закончила свою речь и надела на него куртку.

Пашка понял, что жизнь его в доме у Макеевых закончилась.

– Я вас люблю, а вы меня не любите, – сказал он тогда и заплакал. – А ты, Галя, самая злая! – Крикнул он, уходя и глотая горячие слёзы.

Кроме бабушкиной смерти и всех страданий, выпавших на его долю, с её смертью связанных, более всего огорчала Пашку ссора с Макеевыми, с дорогими сердцу людьми. И огорчала тем сильнее, что не видел возможности помириться. «Вот если б вдруг вернулся отец, – думал он, – тот человек, которому можно рассказать всё, и о матери, и о несправедливостях, которые он претерпел. И с ним, конечно, можно пойти к Макеевым и всё объяснить. А когда отец им всё объяснит, то они обязательно простят его и перестанут ненавидеть». А что теперь, после обвинений в предательстве, они его ненавидят – в этом он не сомневался и очень от этого страдал.

Какая же была радость, когда то, о чём мечтал, произошло – отец вернулся. Отец! Не такой, каким помнил, но живой, настоящий, не вымышленный. Сколько надежд сразу зажглось в его сердце. С Макеевыми помирится, с отцом не расстанется, начнётся новая, счастливая, состоящая только из праздников жизнь. И вот, всё пропало самым невероятным, неожиданным и страшным образом. Вместо счастья и радости выходили горе и слёзы. Кому теперь поведать свои душевные муки? Кто теперь помирит с Макеевыми, с людьми, которых он любит, и которые его ненавидят? Некому поведать, никто не поможет, он сирота, один на земле и несчастен в своём одиночестве.

Пришло время объяснить, почему главный врач разрешил поставить гроб с покойным в больничный морг, зачем было куплено отчимом столько водки и подробнее представить Пашкиных родителей.

Лидия Львовна, по второму мужу носившая фамилию Пацкань, работала врачом в Наркологическом центре, а с главным врачом той больницы, в морге которой стоял теперь гроб, была в дружеских отношениях ещё с медвуза. Статная, высокая, коротко стриженная. Для своих сорока хорошо сохранилась и с тридцатилетним мужем смотрелась ровней, тем более, что Пацкань был потрёпан, истаскан и выглядел гораздо старше своих лет.

Первый муж у Лидии Львовны был старше её на десять лет, второй на десять лет моложе, она всем об этом рассказывала. Если говорить о последних её пристрастиях, то нельзя обойти любовь к получению подарков, которые часто принимала и в виде денег. Гордилась тем, что пока продаётся спиртное, без работы не останется. О том, как получила своё хлебное место, скажем её словами: «Как мне всё это досталось, и сколько сил я на это потратила, одному только Богу известно».

В последний год полюбила весёлые компании, где не гнушалась напиваться до бесчувствия, что тоже делалось не просто так, а в целях профилактики – «дабы снять накопившееся». С Пацканём познакомилась давно. Познакомил бывший муж, Пётр Петрович, когда вместе с «Мирошей» работал в гараже при заводе. Затем Пацкань уходил в таксисты, снова возвращался на завод, и только после второго своего возвращения женился на свободной тогда уже Лидии Львовне.

Мирон Христофорыч был человеком чрезмерно преданным винопитию и единственно, в чём с супругой безоговорочно сходилась, так это в страсти к застольям. Это была главная статья расхода, на которую денег не жалели. Пашкин отчим был полноват, когда говорил или дышал – раздавалось сопение. Роста был невысокого, одна нога короче другой. Он носил обувь с разными по толщине подошвами, так с изьяном справлялся. Рыжеволосый, краснощёкий, с бурыми усами и бледно-зелеными, кошачьими, глазами. Работал водителем и числился в штате гаража при известном в районе, оборонном, заводе.

В основном трудился на погрузчике, развозил грузы по территории предприятия. Но, после того, как заместителем директора стал Цекатун Валериан Захарыч, Пацкань частенько, раз восемь в месяц, на чёрной волге ГАЗ – 24, стал ездить в «спец холодильник», а оттуда – к Валериан Захарычу домой, отвозя приобретённые в холодильнике продукты. В гараже, которым заведовал не любивший «Фарфорыча» Кирькс, не без звонка того же Цекатуна, у Пацканя появился собственный сейф, якобы для хранения смазок и инструмента, необходимых всякому автослесарю, в которые Пацкань якобы думал переходить. Но, в автослесаря он не перешёл, а смазки и инструменты в его сейфе стали занимать более чем скромное место.

В сейфе Пацкань стал хранить спиртопродукты, которыми торговал в рабочее время, запрашивая за них в зависимости от настроения, двойную, тройную, а то и четвертную цену. Терпеливые его коллеги, время от времени теряя терпение, ломали в сейфе замок, забирались в недра и лакомились спиртопродуктами бесплатно, как бы компенсируя этим свою переплату. Единицы, из особо негодующих, подогретье этим самым спиртопродуктом, ловили Пацканя и били кулаками. На вопрос Мирона Христофорыча: «За что?». Отвечали: «За жадность и за то, что стучишь». Услышав, что бьют за дело, ибо знал, что повинен в этих грехах, Пацкань успокаивался. Отведя душу, успокаивались и коллеги. И жизнь в гараже очень скоро принимала свой прежний ход.

Пацкань менял сломанный замок на новый, опять запасался спиртопродуктами и в те дни, когда ему не нужно было ехать в холодильник, открывал свою лавочку. Коллеги, ещё вчера грабившие и избивавшие, подходили, жали руку, просили не помнить зла и называя про себя его сукиным сыном, снова платили втридорога.

Три ящика «Столичной», купленной благодаря свидетельству о смерти, предназначались, разумеется, не для поминок, а для сейфа. О поминках по началу и разговора не заходило, должно быть, и не было бы, если бы не Полина Петровна и не дядя Коля Кирькс, которые взялись за их подготовку с сердечным участием и втянули в этот процесс Пацканя и Лидию Львовну. Так не прошло и получаса, как пришли Фёдор и Максим, принесли с собой картошку и сразу стали чистить её, кидая очищенную в ванну с водой. Пришла старшая дочь дядя Коли Кирькс, принесла индюка и две трёхлитровые банки самогона. Заговорили о рисе и изюме для куты и о муке для блинов.

Утром следующего дня, выйдя на кухню, Пашка увидел четырёх женщин и огромную работу по приготовлению пищи. Старшую дочь дяди Коли Кирькс, крестную и Галину он сразу узнал. Заметив пристальный взгляд сестры, он покраснел и опустил глаза. Незнакомая девушка хохотнула, глядя на это.

– Да, такой вот брат у меня, – гордо сказала Галя. – А, это подруга моя, Ванда, она поможет.

– Ой, Павлик проснулся, – очнувшись от своих мыслей, сказала Полина Петровна, – иди, сходи к маме, миленький. Она тебя что-то спрашивала.

Крестная подошла к нему, погладила по голове и поцеловала. Пашка заметил, что голос у крестной дрожит, а веки красные, припухшие. Ему хотелось побыть с ней, но приходилось идти к матери.

– Одевайся и дуй в больницу, – сказала Лидия Львовна, когда он нашёл её в комнате.

– Зачем в больницу? – Не понял он.

– В морг! – Повысив голос, уточнила мать. – Отнесёшь вещи. Тут Полина костюм принесла и всё, что полагается. Давай, это заранее нужно сделать.

– Хорошо, – безропотно согласился Пашка и взял из рук матери сумку.

– Да, погоди ты! Не сразу сейчас. Через полчаса, через час. Иди, поешь пока.

На кухне, положив в глубокую тарелку большую порцию салата с горошком, Галина под села к Пашке и стала есть вместе с ним из одной тарелки.

– Ничего? – Осторожно спросила она. – Тарелок больше нет, посуду из кухни всю вынесли, – попыталась она оправдываться, но почувствовав, что это лишнее, замолчала и стала есть спокойно.

Пашке было приятно, что примирение произошло так просто и так красиво. Отец всё-таки сделал то, чего он от него ждал. Примирил с Макеевыми и особенно с Галей. Какая-то необъяснимая радость разлилась по сердцу.

– Ешь, ешь, – говорил он всякий раз Галине, которая ела с аппетитом, но временами останавливалась и вопросительно смотрела на него. И Галина ела, слушалась, его, самого младшего. И от этого на душе становилось особенно светло, вспоминались те вечера, в которые Пашка по каким-либо причинам должен был ночевать у Макеевых. Фёдор с Галей рассказывали им с Максимом придуманные сказки, устраивали между ними соревнования: кто скорее прожует и проглотит варёное яйцо целиком, засунутое в рот. Они с Максимом старались, а Галя с Фёдором, глядя на них, смеялись.

Пашке у Макеевых всегда было весело. Летом с балкона пускали бумажных голубей, смотрели – чей выше поднимется и дальше улетит, за голубями шли мыльные пузыри, переливающиеся всеми цветами радуги, прозрачные и красивые, они быстро появлялись на свет и так же быстро исчезали. Следом за пузырями брызгалки, с направленными твёрдыми струями воды и непременно смехом. Зимой играли в жмурки, в карты и в домино, все вместе раскатывали тесто и готовили пельмени. Они не скучали, всегда что-нибудь да придумывали, у них всегда в квартире было много смеха, всегда царил веселье.

Через полчаса, взяв сумку с вещами, Пашка направился к моргу, рядом с которым должен был ждать его Фёдор.

– Кто тебе губу разбил? – спросил Фёдор, протягивая брату руку для рукопожатия.

– Не знаю, – опуская глаза, сказал Пашка.

– Побили. Отчего Максиму с Назаром не скажешь? Чего они тебя не защищают? Или ты сам не хочешь?

– Не хочу, – ответил Пашка и, чтобы переменить тему, приподнял и показал брату сумку с вещами, которую надо было отдать санитарам.

Войдя в помещение морга, через дверь находящуюся с другой стороны от той, в которую вносили гроб, они оказались в приёмной. Объяснившись со стоящими и чего-то ожидавшими там людьми, Пашка постучался и вошёл к санитарам. Два молодых человека, как раз завтракали в этот момент. На большой, чёрной, чугунной сковороде, только что снятой с плитки и поставленной на стол, ещё шипели в масле жареные яйца, которых было не меньше дюжины. Расспросив для кого и не спросив, как того ожидал Пашка, денег, которых у него с собой и не было, они взяли сумку и сказали, что всё сделают, как надо. Даже тогда, когда вошедший вслед за ним Фёдор спросил нехотая, не нужно ли заплатить, они наотрез отказались, уверяя, что совершенно не нужно.

Выйдя из морга на улицу, Пашка с Фёдором зашли в маленький жёлтый автобус, ПАЗик, к ним приписанный и к тому времени уже подъехавший. Этот маленький жёлтый автобус должен был везти гроб на кладбище. Сидя в тишине на прохладных сидениях, изредка отвечая на вопросы водителя, они дожидались своих. Свои подошли к половине одиннадцатого и их, как показалось Пашке, было слишком уж много.

Из тех, кого узнал и кого никак не ожидал увидеть, были: Назар, пришедший вместе с Максимом, Степан Удовиченко, пришедший вместе с Галиной, люди со двора, как то: повар, фамилию и имя которого Пашка не знал, известный тем, что посадил когда-то клён во дворе и дарил чуть ли не каждый день детям карамель, Гульканыя, человек знаменитый своим пристрастием к скачкам и тем ещё, что имел пластмассовое горло и говорил шёпотом. Мелькала фигура Валентина, грузчика из продуктового, которого все называли милиционером, так же проживающего в их дворе. Была дальняя родня, которую Пашка, как-то видел в доме у тётки, но это было так давно, что он теперь их еле узнавал. Из тех, кого предполагал видеть, были: отчим, мать, Милка, крёстная, Максим, Галина, дядя Коля Кирькс и вчерашние молодцы, помогавшие перевозить тело отца. Было так же очень много совсем незнакомых. Увидев такое количество людей, Пашке захотелось от них спрятаться.

И странно, чтобы не думать обо всех этих близких, чужих, знакомых и не знакомых, не думать о главном, самом страшном, что ему предстояло и было неотвратимо, он стал вдруг думать о грузчике Валентине и ушёл в эти думы целиком.

Валентин, работавший теперь грузчиком в продуктовом и ходивший повсюду в синем промасленном халате, был толстым и сутулым. Этот Валентин совсем ещё недавно был милиционером, но милиционер из него был никудышный. Он стеснялся своей формы, до ужаса боялся хулиганов. Пашка видел однажды, как он ехал в одном автобусе с хулиганами, те ругались, курили, обижали пассажиров. Пассажиры вопросительно смотрели на Валентина, а тот, бедный, не знал, куда б ему спрятаться. Съёжился, забился в уголок, отвернулся и делал вид, что смотрит в окно. Жалкое было зрелище.

То ли дело участковый Шафтин, тот и без формы ходил милиционером, и голосил почём зря. Когда мужики во дворе заигрывались в домино, мешали людям спать, он выходил и командовал: «Конец игре». И его все слушались, а выйди Валентин и скажи так, все бы только рассмеялись.

Хорошо, что в милиции Валентин работал недолго и оттуда пошёл прямо в грузчики. Изменился человек, как заново народился, что значит, не играть чужую роль. Стал твёрдо шагать, громко говорить, в каждом жесте стал виден хозяин. Правда, с тех пор, как устроился в магазин, обнаружилось в нём много странностей. Время от времени стал подпадать под влия-

ние различных увлечений. То, взялся склеивать модели, а то вдруг заболел идеей физического бессмертия, говорил о каких-то учителях, пьющих свою мочу так же запросто, как воду из-под крана, называл мочу «водой жизни», но сам больше водку пил. Ел проросшие зёрна, какие-то коренья, на ночь привязывал к ноге проволоку, а другой конец проволоки к батарее, чтобы старость, накопившаяся в нём за день, в течение ночи ушла в землю. Очень во всё это верил, но вера его была не твёрдой. Как с моделями, так и с долгожительством скоро завязал, стал беспробудно пить и этим утешился.

Отчим, как только пришёл, так сразу же осведомился – не в обиде ли санитары?

– Они не взяли, Федя предлагал, – ответил Пашка лишь затем, чтобы тот от него отстал.

Когда санитары впустили всех в комнату, в которой стоял на невысокой подставке открытый гроб с телом отца, Полина Петровна, не сдерживая себя, заплакала навзрыд, за нею следом стала плакать Галя и некоторые из подошедших к гробу женщин. Было неожиданностью для Пашки увидеть, что некрасивое лицо грузчика Валентина и благообразное лицо дяди Коли Кирькс тоже покрыты слезами. Сам Пашка, какое-то время боялся смотреть на отца, но, перебив этот страх, заставил себя взглянуть. Отец, лежащий в гробу, был непохож на того отца, которого он видел лежащим на тахте, и дело было не в костюме, в который отец теперь был наряжен. Выражение лица за этот короткий срок изменилось и стало другим. Лицо имело теперь печать блаженства и умиротворённости, а глаза из закрытых превратились в сощуренные, приоткрытые. Казалось, что он в щелочки между ресниц смотрит за всем, что происходит вокруг и, видя Пашку, тихо и ласково ему улыбается. К Пашке подошёл Мирон Христофорыч и спросил, нужна ли панихида.

– Чего? – Испугался Пашка и попытался от него убежать.

– Говорить что-нибудь надо? – Поймав его за плечо, объяснил отчим и добавил. – Если хочешь на ту сторону, то обходи через голову. Никогда не пересекай покойнику его последнюю дорожку. Ну, так как? Панихида нужна или нет?

– Не нужна, – ответил Пашка, высвобождая плечо.

Мирон Христофорыч понимающе закивал головой, отошёл в сторону и объявил гражданскую панихиду. Стали один за другим выходить незнакомые люди и говорить речи.

Один нервный худой гражданин с длинными волосами, которого, как потом оказалось, никто и не знал, говорил хоть и пространно, но зато так искренне, что даже ушедшие санитары вернулись, чтобы его послушать.

Заметив санитаров, отчим кинулся к ним, спрашивал, не в обиде ли? Санитары ответили, что всё в порядке и от червонца, который отчим им старался всучить, отказались. За исключением пламенной речи, произнесённой никому не известным гражданином, речи других ораторов состояли из пустых и бесцветных фраз, которые и всегда коробят, ну а в настоящий момент казались просто чем-то неприличным и вызвали в Пашке сильное негодование. Однако на женщин эти лживые речи действовали иначе, успевшая уже успокоиться Полина Петровна вдруг снова в голос заплакала.

После панихиды гроб накрыли крышкой, вынесли из помещения, в котором находились, и внесли в автобус. Часть пришедших села в этот же крохотный ПАЗик, часть в большой «Львовский», специально для этого случая выписанный дядей Колей. Многие из пришедших проститься на кладбище не поехали.

Приехав на кладбище, первым делом купили железный крашеный крест, написали на нём фамилию и инициалы, год рождения и год смерти. Крест со свежими надписями впереди всей процессии с гордостью понёс дядя Коля Кирькс. За ним на специальной высокой железной тележке с колёсами повезли закрытый гроб, а уж за гробом пошли все те, кто приехал.

Свежие ямы под могилы, очень часто вырытые, мимо которых они шли, походили на окопы, их было не менее двадцати и могильщики, молодые краснощёкие парни, всё про-

должали их рыть. Распорядитель, стоящий там же, с красной повязкой на рукаве, указал место и сказал, что можно снять крышку и попрощаться.

Всё напоминало конвейер. К следующей могиле распорядитель проводил другую процессию, за ними третью, четвёртую, пятую. Оглядывая всех с высоты своего двухметрового роста, он опытным глазом подмечал тех, кто уже простился и парням, копавшим новые могилы, давал сигнал, известный лишь ему и им, после которого они тут же бросая рыть, шли закапывать. Мастерства у них было не отнять, при этом никто не позволял себе никаких неточностей, способных оскорбить чувства родственников покойного. Механизм погребения был совершенен и работал, как часы.

Дядя Коля Кирькс, поставив крест так, чтобы тот мог опереться на гроб, достал из внутреннего кармана пиджака полоску бумаги с написанной на ней молитвой и положил её на лоб Петру Петровичу. Стали подходить и по очереди прощаться, целовать через бумажную ленту покойного в лоб. Последним подошёл дядя Коля Кирькс, достал из того же внутреннего кармана другую бумажку, которая оказалась свёртком с песком, развернул его и находившийся в нём песок рассыпал по телу покойного в виде креста. После чего и саму бумажку сунул в гроб, где-то в ногах, а сам подошёл к изголовью. Склонившись над другом юности, коснулся его лба троекратно, приложившись поочерёдно губами, щекою и лбом. Сделал это со знанием дела, излишне не торопясь, с внутренним проникновением. После того, как простился, гроб закрыли, забили гвоздями и опустили в могилу.

Очень быстро, практически в одно мгновение, могильщики засыпали красный сатин землёй, а в образовавшийся холмик воткнули крест и цветы, длинные стебли которых обрубали лопатой. Пашка не плакал и, как ему казалось, его вообще никто не замечал. Но, когда, после ухода могильщиков, он направился к холмику, все разом кинулись к нему и аккуратно схватили, видимо опасаясь того, что начнётся истерика. «Значит, помнят», – подумал он и объяснил схватившим, что хотел ком глины раскрошить. После объяснения Пашку отпустили, терпеливо ждали, пока крошил он ком, ну, а потом тихо отвели в сторону.

Дядя Коля Кирькс дал Пашке десять рублей, чтобы тот отдал их распорядителю. Распорядитель, увидев деньги, очень быстро сказал «нет», но тут же, воровато оглядевшись по сторонам, взял их и сказал «спасибо». На этом похороны закончились, впереди были поминки.

Пашка боялся, что из поминок сделают балаган, как это было на поминках у бабушки, но этого не случилось.

Присутствие Полины Петровны, Фёдора, Гали, дяди Коли Кирькс и других серьёзных людей способствовало тому, чтобы отчим не плясал, не пел песен, и остальные сомнительного вида граждане не вели себя на поминках так, как на свадьбе.

Пришёл старший по дому, знавший Пашкиного отца. Ему освободили место, щедро обставили тарелками со студнем, сыром и сельдью, вооружили стаканом, до краёв наполненным сорокоградусной. Выпив за упокой души, обращаясь к Пашкиной крестной, старший по дому, сказал:

– Вот, Полина, вспоминая сейчас Петра, светлая ему память, скорблю и плачу, а вернусь домой, буду смеяться и плясать. Свадьба у меня, веселье в доме. Дочь замуж отдаю. Ничего не поделаешь, такая жизнь. Всё рядом и горе, и радость.

Задерживаться он не стал, посидел несколько минут, как обещал, поплакал и, утерев слёзы мятым носовым платком, распрощался и пошёл на танцы.

За столом, справа от Пашки, сидели Максим с Назаром, пили водку как взрослые. Слева Валентин-грузчик, одетый в костюм с запахом сырого подвала. Валентин грыз ногти на руке, больше похожие на щепки и, дыша в ухо спиртным перегаром, нашёптывал по-своему добрые, имевшие цель утешить, слова. И хотя выбрал не самый подходящий приём, Пашке было приятно, что жалеют и утешают.

– Твой ещё пожил, – говорил Валентин, – а мой в тридцать два помёр. Как говорится, только бы жить да радоваться, а он возьми, да помри. Мне три года было, поднесли с ним прощаться, а отец небритый, я кричу: «не хочу целовать, он колючий». Не помню его совсем. Был на кладбище года два назад, натаскал земли из леса, а в этом году приехал – на могилке ландыши, земляника. Красота. Всё из-за земли лесной. Я ведь тоже семьи хотел, чтобы как у людей, а жена ушла к тому, у кого машина. У меня машины тогда ведь не было, её и теперь, машины, даже нет, и никогда даже больше не будет... А дочке сказали, что я умер и повели, показали мою могилку. Я даже очень сильно тогда переживал. Я в милиции работал на «Урале». Был у меня такой мотоциклет с коляской, гонял на нём, хотел разбиться. Перевернулся один раз, но об этом никто не знает. Знает один человек, но он никому об этом не скажет, он настоящий мужик. Да, навредил я тогда себе, позвонки расширились, с тех пор нервничать много стал. Вот пояс постоянно ношу (он ударил себя рукой по животу), летом жарко, а ничего не поделаешь.

– Тебе нельзя работать грузчиком. Тяжести поднимать, – сказал Пашка, серьёзно обеспокоенный здоровьем собеседника.

Глаза у Валентина заметались по сторонам, он успел уже забыть о крушении и травме позвоночника, но тут же нашёлся:

– Нет, это же гимнастика. Это помогает. Только поэтому в магазин и пошёл.

Пашка понял, что мотоцикл, травма – это скорее выдумка, спросил про дочь.

– Дочь? Нет, совсем не вижу. Один раз, когда дочка к тётке приезжала, тогда видел изда-лека, но не подходил. Постоял, посмотрел. Тёща меня в тот день в магазине увидела, говорит, дочка здесь, чего не заходишь? А я говорю – вы же меня похоронили и дочке могилку показали, она сразу заткнулась и ушла.

Валентин рассказывал о своих горестях легко, весело, и от этого Пашке становилось его ещё жалче. Он смотрел на синие ногти больших его пальцев, видимо раздавленные на работе ящиками или другими тяжёлыми грузами, и своё горе уже не казалось таким тяжёлым. Да, и нужно было признаться, на поминках его охватило неведомое дотоле ощущение счастья. Нет, о смерти отца он ни на мгновение не забывал, но все вокруг его так утешали, так жалели, так любили, что противиться чувству радости просто не было сил.

А главное – в своих чувствах все были искренни. Мог ли он подумать, что будет счастлив в день похорон отца? Да, и хоронили ли? Умирал ли? В смерть теперь не верилось. Казалось, что отец всех обманул и снова ушёл, на долгие десять лет. А приходил лишь затем, чтобы помочь ему, своему сыну, примирить его с миром. Отец помог и конечно, не умер, а иначе сердце бы так не ликовало. Пашка чувствовал это и знал.

5

На следующий день Пашку на улице остановила женщина.

– Извините меня, пожалуйста, – сказала она, – это правда, что Вы – сын Петра Петровича Пospelова? И, что сам Пётр Петрович...

Женщина сильно волновалась и беспрестанно мяла в руках маленький носовой платок, которым время от времени отирала сухие щёки, так, как будто по ним текли слёзы.

– Да, я его сын, Павел, – ответил Пашка, видя, что это не праздное любопытство, – и то, что Пётр Петрович... Тоже правда, – грустно добавил он.

– Неужели опоздала? – Спросила женщина у неба. Казалась, вся жизненная сила ушла из неё, после Пашкиных слов.

– Как это случилось? Где? – Стала расспрашивать она слабым, дрожащим голосом.

Умилённый видом горя незнакомой женщины, Пашка стал рассказывать:

– Дома. Никто не ожидал. Вечером легли спать, он как раз перед этим подарил мне свой крест, а утром...

– Крест? – недослушав, переспросила женщина оживляясь. – Как? Пётр Петрович передал вам свой крест?

В потухших её глазах появилась надежда.

– Да, – подтвердил Пашка, сказанные слова.

– Так это же меняет дело! Видите ли, – стала взволнованно объяснять незнакомка, – дело в том, что у меня сын погибает, – она поднесла платок к лицу и привычным жестом смахнула выкатившуюся на щеку слезу, – понимаете? Погибает теперь, в это самое время, а я, мать, не в силах ему помочь. Искала Петра Петровича, сказали, в Москве. Приехала в Москву, отыскала квартиру и вдруг – такое известие. Я не знаю, за кого меня приняли, женщина с вязаной ленточкой на голове, открывшая дверь, так странно на меня смотрела. И вы простите, я ей не поверила. В сердце закралось сомнение. Знаете, всякое бывает. Чего только не скажешь из ревности. А, он мне нужен. Так нужен был. Простите, что решила вас дожидаться, всё-таки в крайнем положении нахожусь, и потом, вот, не ошиблась.

Она снова вытерла не появившуюся на щеке слезу. Вслед за этим произошла сцена, поразившая и напугавшая Пашку. Женщина, извиняясь, попросила показать ей крест Петра Петровича. Пашка, совершенно не представляя себе последствий, расстегнул на рубашке верхнюю пуговицу и показал. Увидев крест, женщина прошептала: «Спасён. Теперь спасён» и повернулась перед Пашкой на колени. Причём, встав на них, поклонилась, касаясь белым напудренным лбом грязного асфальта.

Напуганный до смерти Пашка, внимательно следил за тем, как она это делает, опомнившись, хотел убежать, но поднявшая голову женщина его остановила.

– Подождите, прошу вас! – Умоляюще возопила она, вставая с колен.

– Что вам нужно? – Спросил Пашка. – Крест? Не отдам.

– Нет, нет. Боже упаси, что вы, – поспешила успокоить его женщина, – зачем? Я за сына хочу просить.

– Какого сына? Чем я могу помочь? – Не понимая смысла просьбы, начиная смотреть на женщину с подозрительностью, спросил Пашка.

– Молитвой, – с готовностью ответила женщина. – Вашей молитвой.

– Я не знаю молить. И не умею, – стал виновато объяснять он.

– Особенного умения здесь не требуется. Вам, Павел Петрович, с такой реликвией... Да, исходящей от неё благодатью, достаточно будет простого желания помочь. Придётся домой, выберете тихую минуту, более не потребуется, и помолитесь. Скажите по-своему несколько слов. Здесь главное не знание, а желание помочь. Как мать, прошу, помогите. С сыном моим, Андреем, беда.

Женщина говорила тихо, но уверенно и, услышав «попробую», тут же, поблагодарила и ушла, оставив Пашку в недоумении.

Придя домой, он стал размышлять: оставить ли просьбу без внимания или же сделать то, о чём женщина просила? Хорошенько подумав и вспомнив, с каким состраданием она спрашивала о смерти отца, он остановился на последнем. «Тем более, – решил он, – что это не составит большого труда». Посмотрев на бабушкину икону, пыльную и всеми в доме забытую, он решил, что слова короткой молитвы, которую уже придумал, будет удобнее произносить, глядя на неё. Встал лицом к запылённому лику, перекрестился, как это делают верующие во время молитвы, и стал говорить:

– Господи, прошу тебя...

Договорить не получилось. Он вынужден был прерваться, услышав за спиной знакомое «гы-гы». Неприятно было узнать, что сводная сестра находилась дома, наблюдала за ним сквозь щель приоткрытой двери и всё видела.

– Милка, что ж ты гулять не идёшь? – Спросил Пашка, краснея, как человек, замеченный на чём-то постыдном, и вспомнив характерный ответ сестры на этот, часто задаваемый ей, вопрос, тут же сам себе ответил. – Ну, да. Дома веселей.

– Гы-гы... Молишься? – В нос произнесла Милка. – Всё маме скажу!

– Чего – всё?

– А то, что ты молишься, и ещё скажу, что ты крест, который она выбросила, подобрал и носишь.

Пашка представил себе сцену, как мать и отчим, выслушав рассказ Милы, будут дразнить его «баптистом», как величали без разбора всех верующих, как будут смеяться, а возможно силой попробуют отобрать у него крест. Стало до того стыдно, что готов был провалиться под землю. Проклинал и себя, решившегося играть роль молельщика, говорящего придуманные слова, и Милку, с её отвратительным смехом, которая всё время следит за ним, и незнакомку, которая, скорее всего, над ним подшутила. Но делать было нечего. «Что будет, то будет», – решил Пашка и слегка успокоившись, уверил себя в том, что крест в любом случае не отдаст, в конце концов, его на время можно будет даже спрятать, а будет мать с отчимом дразнить – что ж, это можно и потерпеть.

И ещё Пашка принял одно твёрдое решение – не верить незнакомым, посторонним, людям и не исполнять их подозрительные просьбы. И припомнив любимую поговорку Трубадуровой: «А если бы тебе сказали – прыгай в колодец?» – уверил себя в том, что это решение не только твёрдое, но и окончательное.

Милка сдержала слово, данное брату о том, что расскажет о кресте и молитве, но как это было не странно, последствий жалоба не возымела. То ли потому, что от похорон и поминок Лидия Львовна ещё не отошла, то ли от того, что голова её в тот момент была занята совсем другим, более важным делом. Как бы там ни было, сыну не сказала ни слова. Быть может, ещё и потому не сказала ни слова, что двойку за экзамен никак не связывала с сомнительным сыновним объяснением, в котором фигурировал крест. Неудовлетворительную оценку, сама для себя, объясняла просто – сын робкий, замкнутый и конечно, как следует не смог рассказать того, что знал. А что он знал, в том сомнений не было. За два месяца до экзамена она ежедневно заставляла сына сидеть и учить экзаменационные билеты, а затем пересказывать их ей наизусть, за чем сама следила по тетрадке.

«Там, где не нужно говорить, – думала она, – в математике письменной, там, пожалуйста, на четвёрку написал. Та же картина с русским. Письменный экзамен на пять, а за устный еле-еле тройку поставили. А почему? Потому, что молчун, слово из него клещами не вытянешь».

На другое утро, когда Пашка пошёл в школу для пересдачи экзамена, первым, кто на улице попался ему на глаза, была та самая женщина, что накануне просила за сына.

Опустив глаза, Пашка направился мимо неё. Она поняла, что он к разговору не расположен и, сделав по инерции движение вперёд, робкую попытку подойти, осталась стоять на месте. Наблюдая за всем этим краем глаза, Пашка остановился и повернулся к ней. Женщина подошла и одними глазами спросила: «Как»? Пашка понял её так хорошо, что, не колеблясь, ответил: «Пока нет». И, оставив женщину, продолжил свой прерванный путь в школу. Решил, что сегодня же сделает то, о чём она просит. Пусть это глупо, бессмысленно, но раз уж ей это так важно.

В школе начался ремонт, ходили маляры, по рекреационным залам с шумом бегали малолетние дети тех учителей, которые вынуждены были, по тем или иным причинам всё ещё находиться в школе.

Он прождал Трубадурову, стоя у дверей учительской, два часа. От запаха краски заболело сердце. Дубовый паркет, натёртый рыжей мастикой, от которого исходил малоприятный дух, тоже ни здоровью, ни настроению не помогал. В коридорах стало тихо. Жизнь ушла из стен школы вместе с малолетними детьми, которых увели с собой освободившиеся мамы. Даже

случайный маляр, отбившийся от бригады, не проходил более мимо Пашки. Трубадуровой всё не было.

Когда же Тамара Андреевна вышла, то, делая вид, что очень занята и совершенно о нём забыла, сказала, что пересдачи сегодня не будет и чтобы он приходил завтра.

Пашка, ожидая подобных издевательств, покорно согласился и направился домой. Возмущившись тем, что с сопливых лет ученики имеют наглость не умолять, не унижаться, не просить, Тамара Андреевна его окликнула и попросила расстегнуть рубашку и показать грудь.

Увидев крест, сначала обрадовалась тому, что не ошиблась и предугадала то, что там увидит, а затем пришла в бешенство, так как всем сердцем своим хотела ошибиться и креста на груди не обнаружить. Она сделалась страшной и с гневом в голосе категорически заявила, что сдача экзамена с завтрашнего дня переносится на послезавтрашний, а если снова придет с крестом, то никаких пересдач больше не будет и «двойка» пойдёт в аттестат.

На пути из школы домой снова встретила женщина, имени которой Пашка не знал.

– Прошу Вас, как мать, – сказала она дрожащим голосом, поймав его взгляд. – За раба Божьего, Андрея.

Весь вечер Пашка просидел дома. Друзья, его сверстники, он знал это точно, купались теперь в пруду, разводили костры в овраге, пекли картошку. Кто-то играл в футбол, кто-то катался на велосипеде. Теперь, после примирения с Макеевыми, можно было запросто пойти к ним, к Максиму на голубятню, там среди прочих голубей была у него любимица – беленькая, хохлатая голубка. Крохотная, как птенец, с маленьким клювом и большими обворожительными глазами. Она так ему нравилась, что однажды приснилась. Но настроение было такое, что ни готовиться к пересдаче экзамена, ни идти куда-либо, просто не мог. Мог лишь сидеть и не спеша размышлять.

Рассказать о чём размышлял, невозможно по той причине, что и сам он, когда отвлекся от мыслей и хотел вспомнить, о чём, собственно, они были, к удивлению своему, ничего припомнить не мог. И в таком полурасслабленном состоянии, не смыкая глаз, Пашка провёл не только вечер, но и целую ночь.

Утром, вспомнив о женщине и просьбе, попросил у Бога помощи её сыну Андрею. Решив, что если эта молитва не поможет, то не поможет уже ни что.

Через час раздался звонок в дверь, и в квартире появилась та самая просительница. Ничего не спрашивая, обливаясь слезами благодарности, первая заговорила.

– Спасибо! Спасибо! Вы – наш спаситель! – Восторженно восклицала она.

Пришла женщина не с пустыми руками, принесла подарки. Отчиму золотые часы, матери – золотые серёжки и перстень с одинаковыми камнями в виде набора. Милке дала деньги на сто порций мороженого. Принесла цветы, коньяк, шампанское и коробку шоколадных конфет.

– Увидите, – убеждённо говорила она, – не знаю подробностей, сын их расскажет, когда вернётся. Но, материнское сердце не обманешь. Я чувствую, что он спасён.

– А мне дочь вчера говорит, Павлик молится, – вторила ей мать, уже надевшая на себя серьги и перстень. – Ну, мало ли что. Думаю, пусть молится. Я никогда против этого не была. Сама в верующей семье росла, жаль только, что верить в Бога времени не было. А, тут вот, оказывается, дело-то в чём!

– Да, да. Это всё по моей просьбе, – подтверждала Нина Георгиевна, так звали женщину, принимая из рук Мирона Христофорыча до краёв наполненный бокал с шампанским. – И как не совестно мне было мучить его в такое время!

– Да, парень только что, как говорится, отца схоронил, – поддакивал отчим, нагоняя на себя поддельную грусть и тут же с восторгом добавлял. – Ну, за знакомство. За вашего сына, чтобы он был здоров.

– За знакомство, – соглашалась Нина Георгиевна, чокаясь с Фарфорычем и Лидией Львовной, – ...и за сына! Спасибо вам за эти слова!

Задаренные родители, разглядывая подарки и подношения, с удовольствием пустили в комнату к Пашке двух женщин, пришедших вместе с Ниной Георгиевной.

Женщины были высокие, стройные, годов тридцати пяти. Одеты в длинные тёмные платья до пят, с испугом в глазах и пальцами, сплошь унизированными золотыми перстнями. В их облике было что-то величественное и одновременно жалкое, и неуловимо для взгляда одно перетекало в другое.

От их прихода словно холодом повеяло, Пашка почувствовал озноб. Женщины, как только вошли, сразу же, поверглись на колени и так же, как когда-то Нина Георгиевна, поклонились, касаясь лбами пола.

– Да, что вы делаете? Встаньте! – Беспокойно заговорил Пашка, напуганный происходящим.

Женщины показались ему настолько несчастными, так много скорби было в них, что он заранее приготовился сделать всё, чего бы они ни попросили: прыгать в трубадуровский колодец, отдать отцовский крест, наконец, отдать даже и саму жизнь.

– Христа ради! Христа ради! – Не отрывая лбов от пола, голосили женщины.

– Да, чего вам? Что нужно? – Спрашивал Пашка, совершенно растерявшись. Не видя способов поднять неожиданных гостей с колен и сам готовый вместе с ними расплакаться.

В этот момент вошла Нина Георгиевна, оценила обстановку и подняла женщин с колен.

– Помогите им, Павел Петрович, – сказала она голосом ему незнакомым, свободным от слёз, красивым и величавым. – Они, в своё время, по глупости, по молодости, сделали операции. Страшные, непростительные, после которых ребёнок, который должен был бы родиться, дышать и смеяться, не рождается, не смеётся и не дышит. Они не первые и не последние из тех, кто поступал и поступает так. Все мы люди и в грехах, как в шелках. Другие и не задумываются об этом и уж конечно не помнят о подобных делах своих, а этим вот, с тех самых пор, и нет покоя. Помогите же им, Павел Петрович. Верните покой их заблудшим душам. Позвольте целовать свой крест во спасение!

Прислушав столь своеобразную рекомендацию, желание отдать и пойти на всё, сменилось на неприязнь.

– Пусть в церковь идут, – сказал Пашка с сердцем, и закрывая рукой грудь, в том месте, где висел крест, несколько мягче добавил. – Я не священник, что бы крест у меня целовать.

– Им именно к вашему кресту приложиться хочется, – залепетала Нина Георгиевна, меняя красоту и величие в своём голосе на знакомую ему дрожь. – Ведь вы же человеколюбец, Павел Петрович. Знаю по себе. Мне помогли, так и их не оставьте. А в церковь они сходят, помолятся. И вы, смилуйтесь, помогите им.

Она встала на колени и, сложив руки ладонями вместе, потрясала ими в воздухе, как бы прося без слов.

Пашка, ничего не говоря, произвольно убрал руку, которой закрывал крест на груди. Это расценили как знак дозволения. С волнением и трепетом подходили женщины и касались жадными губами висящего на пашкиной груди креста. И, тут же, поцеловав крест, брали безвольную Пашкину руку и целовали её. Затем, вставая на колени и кланяясь, касались губами ступней.

Позволив пришедшим делать всё, что пришло им на ум, Пашка очень скоро почувствовал себя обессиленным. Непомерно тяжёлый груз, вдруг, свалился ему на плечи. Такая усталость овладела, что не мог оставаться на ногах, сел на тахту и когда женщинам, на прощание сказал: «до свидания», то не узнал своего голоса, так он стал протяжен и слаб. И сами слова прощания еле родились и еле слетели с его вмиг похолодевших, сухих губ.

«Конечно, бессонная ночь, – думал он. – Но, откуда такая усталость? В таком состоянии нельзя засыпать. Если закрою глаза сейчас, то непременно умру, как отец. Потому что нет сил даже раздеться, а силы уходят. Если сейчас забудусь, то во время сна последние кончатся и сил на то, чтобы проснуться и жить не останется».

Это было последнее, о чём Пашка подумал перед тем, как веки смежились. Он заснул и увидел яркий, поражающий достоверностью, сон.

Приснилась широкая улица заброшенного села, будто сам он стоит на заросшей бурьяном дороге, проходящей вдоль улицы и на него, во всю прыть, во весь опор, несётся огромная белая лошадь. Хвост и грива, развеваясь от бега, сливались и образовывали, несущийся по воздуху, длинный и широкий шлейф.

Не добежав до Пашки каких-нибудь трёх шагов, лошадь исчезла, а на её месте оказались те самые женщины, которые приходили вместе с Ниной Георгиевной. Были они закутаны с головы до ног в тот самый шлейф. И тут же, на Пашкиных глазах, шлейф, превратился в пену. В обычную белую пену. Но, почему-то именно это превращение Пашку напугало. Наблюдая за пеной, он сразу почувствовал, что в ней-то и заключается главная опасность и, глядя на несчастных, беспомощных женщин, закричал, не помня себя:

– Не стойте! Сбрасывайте её с себя! Руками сбрасывайте!

Но женщины его не понимали или не слышали. Виновато улыбаясь, они дрожали и жались друг к другу.

– Сбрасывайте, кому говорю! – Крикнул он, что было сил и, кинувшись к ним, стал сдирать пену с их плеч, стараясь делать это как можно быстрее.

Вдруг, повинувшись какому-то непонятному чувству, он оставил женщин в покое и оглянулся. За его спиной стояли люди. Много людей. Они стояли молча и неподвижно. Живые, но казалось, что вылеплены из воска. Они не шевельнулись, когда он, обращаясь к ним, с прежней тревогой в голосе, продиктованной страхом за женщин, просил:

– Помогите!

Равнодушие смотрело на него. Напрасно всматривался он в их лица, ища хоть проблеск внимания. Тупые, безучастные. Лица, как оказалось, были серыми. То ли от грязи внешней, то ли от внутренней, вызвавшей на лицах такую неестественную, болезненную краску.

С трудом нашёл он в себе силы, чтобы отвернуться от них и повернуться к женщинам. Но, повернувшись, женщин не обнаружил, как не увидел и сельской улицы.

Пашка вдруг оказался, самым волшебным образом, посреди поля с тёплой вспаханной землёй. Собственно саму землю, её тепло, он особенно хорошо ощущал, так как стоял босиком.

– Принимайте работу! – Сказал подошедший к нему мужичок и тут же, отвернувшись, куда-то пошёл.

Пашка направился вслед за ним. На мужичке была телогрейка, засаленные, как у тракториста штаны, кепка и кирзовые сапоги. Одной рукой он сильно размахивал, а в другой, неподвижной, нёс лопату. Рассмотрев хорошенько мужичка, Пашка стал смотреть себе под ноги, на землю, как она мягкая и тёплая проминается под ступнями. Шли долго, идти было приятно. Мягкая земля, по которой шёл Пашка, дышала, испарялась, опьяняла дурманящими запахами. Наконец пришли. Мужичок подвёл его к двум небольшим бугоркам.

– Вот, пожалуйста. В лучшем виде, – отрапортовал он. – Только кресты осталось поставить.

– Поставьте, – сказал Пашка, не понимая вопросительного взгляда, с которым посмотрел на него мужичок.

– Кресты? – Удивляясь, переспросил тот. – Кресты дело не моё. Рубите сами.

Оглядевшись по сторонам, Пашка понял, что находится на краю кладбища. Но, кладбища не обычного. Не было больших могил с большими крестами, его окружали, почти игрушечные могилки-холмики, над каждой из которых возвышался свой маленький берёзовый крест.

Вдруг у бугорков, появились те самые женщины, которые совсем недавно были в пене. Теперь они стояли чистые и весёлые.

– Вон тебе роцца, вот тебе помощь, – сказал мужичок и вложил Пашке в руки увесистый, хорошо наточенный, топор.

– А что, со мной не пойдёте? – Спросил Пашка.

– Нет. Боюсь. Здесь побуду, – чистосердечно признался мужичок.

Пашка посмотрел в ту сторону, куда его направляли и увидел небольшую, жиденькую рощу. Самую обычную, состоящую из редких молодых берёз. Роцца как роцца, но почему-то было страшно, не то, что идти, даже смотреть на неё.

– Не пойдёте? Ну, как хотите, – медленно проговорил Пашка и сделал несколько шагов по направлению к деревьям, но тут же вернулся и, подойдя к женщинам, попросил их пойти вместе с ним. Женщины переглянулись, улыбнулись и посмотрели на него виновато. Виновато, но так, что сразу стало ясно, они никуда не пойдут.

– Хорошо. Ждите здесь, – сказал он, собираясь идти, но не пошёл, а снова обратился к мужичку и спросил. – Одной берёзки хватит?

– Хватит, – с готовностью подтвердил мужичок.

– Одну-то я срублю, – сказал Пашка женщинам, думая о том, как бы в рощу не ходить.

После неприлично долгого бездействия и молчания он снова спросил у мужичка:

– А без крестов нельзя?

– Нельзя. Что за могила без креста? Её обязательно зверь разроет, если без креста, – пояснил мужичок, доказывая необходимость идти в рощу.

Собрав всю свою смелость, Пашка зашагал к берёзкам. Выбрав деревце, росшее на самом краю, размахнулся и ударил под самый корень. Раздался оглушительный человеческий крик, а из-под врезавшегося в дерево топора хлынула фонтаном горячая багряная кровь. Кровь так быстро прибывала, что уже через несколько мгновений топор скрылся под её колеблющимся слоем. Опомившись от услышанного и увиденного, Пашка попытался вынуть засевший в дереве топор, но из этого ничего не вышло, попробовал отпустить топориче, но и это сделать не удалось. Руки словно вросли в рукоять.

Только после этого, со всей ясностью и остротой, стало понятно, почему боялся рощи мужичок и от чего он сам смотрел на неё с необъяснимым страхом. Кровь, тем временем, прибывавшая с каждой секундой, стала закипать и пузыриться. Из появлявшихся и лопающихся на поверхности пузырей шёл густой красный пар, похожий на дым, которым всё заволочло.

Пашка уже и не знал, в «дыму» находится или в самой крови. Хотел звать на помощь, но испугался, что захлебнётся. Когда же, преодолев страх, стал кричать, то вопреки желанию, голоса не было слышно. С замиранием сердца ждал он того момента, когда наступит смерть. Казалось, она уже близка, не хватало воздуха, он стал задыхаться и в этот момент – проснулся.

Облегчённо вздохнув и вытерев пот с лица, Пашка решил никого более к себе не подпускать, и даже не слушать. В особенности тех, кто из двух возможностей – стать матерью или убийцей, выбирает вторую. «Сами убивают, пусть сами в крови и кипят», – решил он и в этот момент услышал, как в его комнату отворяется дверь.

В дверном проёме появилась рыжая голова отчима.

– Павлушенька, опять к тебе, – сказал он сладким голосом, из чего Пашке стало ясно, что отчим от пришедших получил деньги.

– Мирон Христофорыч! – Окликнул он Пацканя, уже спрятавшегося за дверь.

– Да, сынонька? – Ответил Пацкань ласково, возвращая голову в дверной проём.

– Скажите тому, кто пришёл, что я совсем не тот, за кого они меня принимают и ничем им помочь не смогу. И если Вы, случайно, взяли у них деньги, то, пожалуйста, верните их назад.

Отчим, сделав недовольную мину, убрался, а Пашка, вдруг почувствовал в теле такую же слабость, какая одолела его утром. Губы высохли и похолодели, силы снова куда-то ушли.

На улице стоял душный вечер, из открытого окна с особой остротой доносился запах пыльного асфальта. Пашка с ужасом подумал о том, что ему завтра нужно будет идти к Трубадуровой и сдавать математику. «А что, если умру или просплю? Нет, умирать нельзя. Мать за это убьёт».

Об этом и помышлять было страшно, и чтобы не проспать, не умереть, решил совсем не ложиться. Только в этом случае, как ему казалось, сможет, если и не пересдать, то хотя бы в школу придти. Так подсказывала логика, а жизнь брала своё. Он свалился на тахту и заснул тяжёлым, крепким сном и проснулся только вечером следующего дня, уже будучи раздетым, лежащим на свежем постельном белье.

Рядом с тахтой на стуле сидела Нина Георгиевна с металлической кружкой в руке. Заметив, что Пашка открыл глаза, она улыбнулась.

– Попейте отвара, – сказала она и поднесла к Пашкиным губам кружку с тёпленькой, горьковатой жидкостью.

Пашка сделал два глотка и отстранил кружку рукой. Осмотревшись, заметил, что недалеко от его постели, на полу, на мягких тюфяках, сидят те самые женщины, которые приходили к нему целовать крест, а потом приснились.

– Где я? Что это со мной было? – Спросил он у Нины Георгиевны, оглядывая помещение, в котором находился и удивляясь его схожести с собственной комнатой.

– Вы только не волнуйтесь, – успокаивала его Нина Георгиевна. – Вы у себя дома, в своей комнате, всё хорошо. Ни о чём не думайте, не заботьтесь. Выздоровливайте поскорее нам на радость.

– Экзамен! – С ужасом вскрикнул Пашка, вспомнив Трубадунову. – Экзамен-то как? – Спросил он у Нины Георгиевны, не подумав о том, откуда бы она могла знать про его пересдачу. Но, она знала и, как выяснилось, не только знала, но и всё уже устроила.

– Тамара Андреевна Трубадунова, – говорила Нина Георгиевна, – просила передать, что удовлетворительную оценку может поставить и без Вашей явки. А, если удовлетворительная оценка окажется недостаточной, то надо будет ей только позвонить, и она в таком случае, тут же придёт, навестит, устроит небольшое собеседование и только после этого сможет поставить оценку выше. Что же касается недомогания... Ваша прелестная мама решила, что это от переутомления. Похороны, экзамены, много нервничали – из всего этого вышло расстройство вегетативной нервной системы, следствие чему бессилие и болезнь. Моё же мнение, если позволите, совершенно отличное. Мне кажется, временная слабость случилась у Вас из-за того, что Вы, без надлежащей к тому привычки, взвалили на себя чрезмерный груз наших грехов. И если удивляетесь тому, что я записалась в Ваши сиделки, не удивляйтесь. Слишком много сделали Вы для меня, чтобы могла я быть неблагодарной. Ваша прелестная мама, очень хорошо понимает эти чувства. Она не стала препятствовать и даже пустила меня на время к Вам пожить. Скоро Вы поправитесь, встанете на ноги, и тогда я со спокойной душой смогу Вас оставить.

Часть первая

Среда. Семнадцатое июня

Ночью, после похорон и поминок Петра Петровича, Фёдор Макеев сидел у себя на кухне, за коротким узким столом, и пробовал писать. Перед ним лежала тетрадь, стоял стакан с давно остывшим нетронутым чаем.

Не писалось. Взялся было переписывать блокноты, но вскоре бросил и это занятие, решив оставить до ясной головы. Собрав писчебумажные принадлежности, отправился спать.

Войдя в комнату, которую делил вместе с братом, нашёл последнего сладко спящим. Максим лежал на раскладушке, простыня, служившая одеялом, сбилась в ком и покоилась в ногах. Было душно, и он не стал накрывать спящего брата. Перед тем как лечь спать, подошёл к шкафу и взяв попавшуюся под руку майку, накинул её на маленькую клетку стоявшую на шкафу, что бы находящийся в ней кенар не заметил рассвета и не помешал бы утренней песней ему спать.

Спать и хотелось, и не хотелось. Болел правый висок, к тому же, не смотря на страшную духоту, Фёдора знобило. Появились мысли о том, что так же как не получилось работать, не удастся теперь и заснуть, но мысли оказались напрасными. Не прошло и минуты, как ему, согревшемуся под одеялом, снились сны, а озноб, оставив его, перебрался на молодой, росший под окном тополь, заставив бедное деревце дрожать всеми своими листьями.

Фёдор, до армии и какое-то время после неё, работал на заводе, в цеху, станочником. На том самом оборонном, где трудились: мать, отец, дядя Пётр, Пацкань, Кирыкс. Работал хорошо но, чувствовал, что не на своём месте. От этого хуже работать не стал, но на сердце легла грусть – печаль, перешедшая со временем в тоску.

В тот безотрадный период жизни, искал себя, пробовал силы там, где, как казалось, мог найти выход для не реализованной творческой энергии. Поступал в театральные училища, проваливался, писал слабые стихи, и через эти печальные опыты, пришёл, наконец, к своему, родному, полностью забравшему в полон, все силы души и тела, делу – написанию прозы, к сочинительству. Поменял цех со станком на перо с бумагой.

Когда уходил с завода, то все, начиная с начальника цеха и заканчивая уборщицей, подходили к нему и изливали душу. Рассказывали о тех причинах, на их взгляд уважительных, из-за которых не смогли в своё время начать «новую, светлую жизнь» и остались на «постылой» работе».

Как оказалось, всем работа не нравилась и была для них хуже горькой редьки. Уходя, Фёдор сказал, что поступает в артисты, а иначе бы не отпустили. Это всеми понималось, как стремление к большим деньгам, к славе, к радостям жизни. Сказать, что уходит в сочинители он не мог. Сочинялось тогда не очень. В последнее время наметилось что-то, дающее уверенность, а тогда было одно лишь смутное желание писать и надежда на чудо.

Когда Фёдор искал себя, работая в цеху по настоящему, хорошо работая. Многие его товарищи не искали себя и не работали, а только жаловались на жизнь. Потом они же, лучшие из них, подходили и говорили: «Тебе повезло, ты нашёл себя». Говорили так, будто искали вместе, а нашёл только он.

Когда Фёдор проснулся, в комнате было светло, но брат ещё спал, из чего он сделал вывод, что на дворе только утро и поспать ему пришлось не более трёх часов. Вспомнились увиденные во сне картины.

Снился диван, набитый деньгами. Пацкань, швырнувший в него молоток. Телефонный звонок домой из чужой квартиры и чужой голос в трубке, назвавший его товарищем майором, сказавший: «Я не виноват, он сам застрелился».

А ещё снился тёмный подъезд со скрипучей деревянной лестницей, по которой сломя голову он нёсся куда-то наверх. Чужая дверь, но во сне отчего-то уже знакомая, страстная речь, мольбы, чуть ли не слёзы у ног не знакомой ему женщины, одетой в домашний халат и старушечий деревенский платок.

Тщательно перебирая в уме, виденные во сне картины, Фёдор не заметил, как в комнату вошла Полина Петровна, пришедшая будить младшего сына.

– Максим, вставай. Слышишь? – Сказала она, стоя у самой двери. – Просыпайся. Кому говорю... Десять раз будить не буду.

Максим продолжал спать и ни словом, ни жестом ей не ответил. Ответил Фёдор, задетый нечуткостью, проявленной по отношению к нему.

– Подойти и молча разбудить, конечно, нельзя?

– Ну, ты же не спишь. Я вижу, глаза у тебя открыты. И, чтобы не забыть, пока не уснул, иди Князькову звони, – вывернулась матушка, вспомнив о висящем на сыне обещании.

– Сама звони, – рассерженно проговорил Фёдор и забрался с головой под одеяло.

После этого произошло то, что всегда или почти всегда происходит в подобных случаях. Забыв о том, что она приходила будить Максима, Полина Петровна полностью переключилась на Фёдора.

– Сама звонила, и не раз. Не слушают, – говорила она, зная, что сын, спрятавшийся под одеялом, её слышит, – думала, может голос мужской на них подействует.

– Не подействует, – ответил Фёдор, выглянув на мгновение из своего укрытия и снова спрятавшись.

Это Полину Петровну особенно задело. Не на шутку разгорячаясь, она сказала:

– Если сейчас не пойдёшь звонить, то и есть не проси. Кормить тебя больше не буду.

– Что? Почему кормить не будешь? – Испуганно спросил проснувшийся Максим, до конца ещё не выбравшийся из сладкого плена сна.

– Господи, за что мне эта мука, за какие грехи такие? – Медленно, с чувством и расстановкой проговорила Полина Петровна и, выйдя из комнаты, пошла на кухню.

Посмотрев на окно, затем на циферблат часов, которые забыл с руки снять перед сном, посидев на раскладушке с минуту, Максим встал, поискал свою майку и, найдя её на клетке, забрал с собой в ванную, чтобы, облившись холодной водой, надеть её на освежившееся тело.

Увидев свет и услышав тишину, воцарившуюся в комнате, на всякий случай несколько мгновений переждав, кенар, сидевший на дне тесной клетки, запрыгнув на единственную в своём жилище палочку, и принялся яростно, до неистовства, петь песню. Успехи исполнительской деятельности были так велики, что Фёдору пришлось выбраться из-под одеяла и, обращаясь к нему как к человеку, сказать:

– Что же ты, горлопан, делаешь? Ты дашь мне поспать или голову тебе отвернуть?

Обидевшийся кенар примолк, посмотрел на Фёдора с упрёком, как бы про себя говоря: «А по какому, собственно, праву вы запрещаете мне петь?». И не успел Фёдор, встававший с постели и накрывавший клетку своей рубашкой, опять лечь и укрыться, как видящий в узкую щель солнечный свет кенар, несколько не страшась угроз, снова запел свою песню, делая это от колена к колену всё громче. Приходилось Фёдору снова подниматься. Однако встав, он не пошёл усмирять бунтаря, а надев брюки, вышел на кухню.

– Давай ворюгин телефон, – сказал он, стоявшей у плиты матушке.

– Там, под аппаратом, в ящичке. В красненькой книжечке, – ответила Полина Петровна, не поворачиваясь.

В ящичке под аппаратом Фёдор той книжечки не нашёл, о чём тут же родительнице и доложил.

– Да? Значит, в комнате на столе. Не ходи туда. Я кому говорю, Галю разбудишь, – торопливо заговорила Полина Петровна и сделав огонь под кастрюлей, стоящей на плите, еле заметным, скорым шагом пошла за Фёдором, уже вошедшим в комнату, где спала Галина.

Сестра так сладко спала, так была красива в своём утреннем сне, что Фёдор не выдержал и прежде, чем матушка появилась в дверях, успел наклониться над спящей и шепнуть ей об этом несколько слов в самое ухо. От этого шёпота Галина проснулась и, не понимая, что происходит, села в постели и стала испуганно смотреть по сторонам. Видя перед собой смеющегося брата и вошедшую в комнату мать, она вскоре нашлась, и, обращаясь к Полине Петровне, с сердцем сказала:

– Мам, убери отсюда этого идиота, я за себя не ручаюсь. Я сейчас запущу в него первое, что попадётся под руку! – Говорила она нервным, срывающимся голосом, отчего Фёдор смеялся ещё сильнее.

Но не спешите осуждать Фёдора и не верьте, не принимайте впрямую горячие слова Галины. Такие озорные побудки были ни чем иным, как обычной семейной забавой и, если раскрывать карты до конца, то следует признаться, что не Фёдор хороводил в этой игре. В те периоды творческой деятельности, когда он по ночам работал, а отсыпался днём, сестра ещё ни разу не вышла из дома без того, чтобы под каким-нибудь предлогом его не разбудить. Или скажет, что к телефону его просит слон, или разбудит для того, чтобы пожелать спокойного сна, или просто подойдёт, закроет пальцами нос, говоря при этом: «Насморк пришел».

Брат и сестра на эти шутки не обижались, и если в этот раз Галина так закричала на Фёдора, то это в большей степени от того, что он застал её врасплох, испугал, а так же по причинам, которые станут известны позднее.

– Давай, выходи. Я сама найду, вынесу, – говорила Полина Петровна, выпроваживая сына из комнаты, и тут же оправдывалась перед дочерью. – Он за книжкой записной приходил. Князькову звонить будет.

Только набрав номер и услышав длинные гудки, Фёдор сообразил, что ещё очень рано, для того чтобы Князькову быть в конторе. И, если он не арестован и не посажен, ещё спит своим тревожным, воровским сном и придёт на работу не ранее, чем через два часа. Ему стало смешно оттого, что за всё то время, пока ругался с родительницей и будил шутки ради сестру, эта простая мысль не пришла в его голову.

Однако надо сказать, кто такой Князьков и зачем Фёдор должен был звонить ему мужским голосом. Дом, в котором Макеевы проживали, был не старый, но, как и всё, что строится на скорую руку и из под палки, сгнил и нуждался в сносе. Но, вместо сноса, завод, построивший дом, объявил о проведении капитального ремонта и провёл его, как водится, в ущерб проживающим.

Всё, что гниению не поддавалось и выглядело заманчиво, было заменено на яко бы новое и лучшее, но на деле это новое и лучшее оказалось хуже прежнего. Камнем преткновения стал паркет, а точнее, так называемые Князьковым «полы», которые тот обещал менять. То есть не то чтобы менять, обещали на старую истлевшую паркетную доску постелить новую, что и называлось «заменить полы».

Обещали и стали выполнять и почти всем работу выполнили. В подъезде, где жили Макеевы, не заменили только им, Ульяновым и Трубадуровой. Тем, кто за бесплатный капитальный ремонт, организованный заводом, за то, что лучшее заменили на худшее, не догадался щедро заплатить Князькову, ответственному за проведение. Да, и то, сказать «не догадались» было бы неправильно. Князьков вёл себя так, что не догадаться было невозможно. В семье у Макеевых был об этом разговор и, обдумав все «за» и «против», Полина Петровна решила, что взятка может только унижить рабочего человека. Под рабочим человеком имелся в виду Князьков, а вместе с тем, точно так же в это унижительное положение будут поставлены дающие, ибо это не нормальные, отношения, а воровские. Прожив на белом свете пятьдесят восемь лет, Полина

Петровна, к своему счастью, и понятия не имела о другом мире, в котором совершенно прилично то, что она считала неприличным и наоборот, совершенно не приемлемо то, что казалось само собой разумеющимся.

Князьков был человеком того самого другого мира, о котором Фебина мама понятия не имела. Считал нормальным получать взятки и при одном упоминании о том, что то, за что берёт деньги, есть его долг, Князькова бросало в холодный пот. А, от таких слов, как христианская любовь, братская помощь он бежал пуще беса, сторонящегося ладана.

Механизм обмана был прост. Пришёл он как-то к Полине Петровне и сказал шёпотом на ушко, что не хочет такой хорошей женщине, отдавшей заводу тридцать пять лет, стелить дрянь, именуемую паркетной доской. Сообщил, приглушив голос, что через неделю на склад придёт настоящий паркет, превосходный во всех отношениях. Вот тогда то, с превосходным и настоящим, он придет на белом коне, как победитель, и будет стелить его ей собственноручно. Теперь же, чтобы бригаде перейти на другой подъезд, нужна её подпись, подтверждающая, что всё сделано, выполнено, и вторая в тетрадь, где написано о высоком качестве произведённых работ, без чего бригаде не выплатят премию.

И как не совестно было Полине Петровне вступать в стговор и получать, в отличие от всех остальных, настоящий, она Князькову доверилась и подпись поставила.

И, как говорится «за жадность», а на деле за понятное, естественное желание человека иметь «не дрянь», поплатилась. Так же или почти, что так попались Ульяновы и Трубадунова.

С тех пор, а после ремонта прошло уже два года, Князьков «кормил завтраками», юлил, как уж на сковородке и, как водится, в многочисленных кабинетах никто из жалобщиков защиты не нашёл. Быть может потому, что всем тем, кто мог бы заступиться, Князьков устроил ужин, а может, от того, что такая уж в России вековая традиция, по которой ищи не ищи, а и среди тысячи чиновников не найдёшь и одной правды.

Узнав о стговоре Полины Петровны с Князьковым и о поставленных ею подписях, Фёдор успокоился и предложил успокоиться обманутой родительнице, но она не успокаивалась, просила звонить и узнавать. Фёдор звонил и узнавал, выслушивал длинные и занимательные истории, принимал в расчёт всяческие уважительные причины и, в конце концов, заниматься этим устал. Его сменила Полина Петровна и так же устала и вот, наконец, добилась того, что сын, снова, обещал интересоваться.

Сидя в коридоре с телефоном на коленях, слушая доносящиеся из трубки длинные, безнадёжные гудки, Фёдор принял решение не ложиться, а сходить прогуляться, тем более, что сон разогнали, а с улицы так заманчиво веяло летом. Он прислушался. Во дворе было шумно. Выбивали ковёр, кричали, ездили на мотоцикле. Всё это сну мало способствовало. Но «идти гулять» означало поздно лечь спать и не встать в час по полудню, не встретиться в два с Леденцовым.

«Значит, надо ехать к Леденцову сейчас, совмещать прогулку с деловой встречей», – решил Фёдор и, оставив телефон, пошёл умываться и одеваться.

После того, как Фёдор ушёл, Максим, позавтракал, покормил кенара, и пошёл на практику. Вышел через десять минут после брата, бежал по лестнице с надеждой нагнать на остановке, и возможно нагнал бы, если бы то и дело не приходилось останавливаться.

Не успел выйти за порог, как наскочил на Рдазову. Она жила этажом выше, с мужем постоянно дралась и на лестничной площадке, чуть ли не каждое утро, стоял или сам Рдазов, вышвырнутый из квартиры в одних трусах, или жена его, одетая в ночную рубашку. Познакомились Рдазовы в больнице имени Кащенко и время от времени полёживали там, то он, то она. Максим не любил эту пожилую, высокомерную особу и не стал бы с ней здороваться, если бы не столкнулся нос к носу.

– Здравствуйтесь, – мягко сказал Максим.

Рдазова посмотрела на него пристально и ничего не ответив, отвернулась. Максима это задело, он с чувством выпалил ей в спину:

– Что б ты сдохла, старая ведьма!

Поднимавшаяся по лестнице Рдазова остановилась, повернулась и, улыбнувшись, сказала:

– Просто не узнала, ты так возмужал. Оказывается, ты злой.

– Я добрый, – принял извинения Максим и побежал по ступеням вниз.

На лестничной площадке второго этажа остановила Трубадунова.

– погоди, постой, – начала она. – Ходила к Князькову, пугала, он задрожал, забегал, разложил все свои синьки, говорит – ремонт еще не закончился и наш дом стоит в плане, просто на складе паркета нет. Обещали резервный дать, снять с красного уголка и детского сада.

– Обманывают, – сказал, появившийся, вдруг, в дверном проёме Матвей Ульянов. – Такие крушения в стране... Обманывают. Весь паркет в Чернобыль пойдёт!

И, прячась от строгого взгляда Трубадуновой, Ульянов скрылся так же неожиданно, как и появился.

О Трубадуновой Максим знал только то, что работала она учителем математики в школе, где учился его двоюродный брат Пашка. Дети её, не успев получить паспорт, убежали из дома из-за скверного характера матери и живут по общежитиям. Упавшая пять лет назад с балкона бабка, мать Трубадуновой, сказала приехавшей для разбора дела милиции, что её столкнула дочь. Хотя старуха была не в себе, все, кроме милиции, словам её поверили.

Ульянова Матвея, проживавшего, как и Трубадунова, на втором этаже, Максим знал лучше. Знал все его дворовые прозвища, как то: «Мотя», «Мумия», «Вождь». Знал все смешные и грустные эпизоды его жизни. Двадцативосьмилетний молодой человек, мужчиной его было никак не назвать, со справкой «инвалид детства», занимал во дворе должность добродушного, наивного шута.

– Что это значит: «Инвалид детства»? Детство тебя что ли, инвалидом сделало? «С детства», а не «детства»! – Как-то пробовал Максим разъяснить себе и Матвею, смысл бездумно повторяемых им слов. Но, Матвей не соглашался и твёрдо стоял на своём.

– Нет. Я – инвалид детства! – отвечал он так гордо, словно это приравнивалось к званию «Герой Советского Союза». Избегая сверстников, Матвей дружил с детворой. Детвора вырастала, у них менялись интересы, Матвей оставался прежним и быстро находил себе новых друзей.

– Передай матери, – кричала Трубадунова, воспользовавшемуся паузой и побежавшему вниз по лестнице, Максиму, – что надо собрать подписи со всех жильцов и подать на Князькова в суд!

Выбежав из подъезда, Максим столкнулся со своей коммунальной соседкой. Фрося шла рядом с мичманом, который судя по пустому мусорному ведру в руке, возвращался с помойки.

– Ой, как кстати! – Обрадовалась Фрося, – Максимушка, родненький, помоги!

О том же попросила и мичмана, шедшего с ней рядом:

– Олег, я за услугу услугой. А ведро давай сюда, я понесу.

Просьба сводилась к следующему. Необходимо было помочь приехавшему вместе с ней на такси родственнику. Сам родственник ходить не мог, и Фрося просила поднять на четвёртый этаж сначала его инвалидное кресло, а затем его самого. И, как не торопился Максим, от этого дела отказаться не мог.

* * *

Приехав в центр, и пройдясь по Тверскому и Суворовскому, бульварам, Фёдор нашёл Леденцова там, где и предполагал найти. Генка лениво мёл тротуар у Дома журналистов. Он

подрабатывал дворником, будучи при этом студентом четвёртого курса ГИТИСа, актёрского факультета. Рядом с ним ходили две дворняжки. Вертелись под ногами, мешая работать.

Перебравшись через невысокую чугунную ограду и перебежав дорогу, по которой с большой скоростью неслись автомобили, Фёдор подошёл к приятелю.

Бледный, не выспавшийся, похожий на музыканта, попавшего на принудительные работы, Генка смотрел под ноги и подошедшего Фёдора не заметил.

– Отдай метлу лентяям, – сказал Фёдор, намекая на игравших рядом собак, – пусть метут, а мы будем стоять и понукать их со стороны.

– Они её роняют. Рукавицы им велики, – оживая и ободряясь, подхватил Леденцов и, глядя по холке серого, похожего на волчонка пса, добавил – Да, и нечего мести. Всё подмёл. Сейчас пойдём чай пить. Или спешишь-торопишься? – осторожно поинтересовался он, памятуя, что встреча была назначена на два часа дня.

– Не спешу. Отспешил, – успокоил его Фёдор, с улыбкой наблюдавший за тем, как одна из собак подбрасывала зубами промасленный пакет, взятый из кучи мусора.

С Генкой Фёдора познакомила сестра Галина, учившаяся с Леденцовым на одном курсе.

Случилось так, что приезжий режиссёр решил ставить «Чайку» в одном из Московских театров. На роль Треплева он пригласил студента Леденцова, а на роль Заречной студентку Макееву. Задумав разыграть «спектакль Треплева», режиссёр попросил Геннадия и Галину найти людей для этого спектакля, желательно близких, знакомых.

Фёдор вместе с Леденцовым делал «Треплевский спектакль» – там и подружились. Говоря о «Чайке», кончилось тем, что Фёдор в спектакле занят не был, его с успехом заменил театровед Горохополов, который вместе с другими театроведами, наряженный в тёмные одежды, вылезал во время монолога Заречной на сцену из люка и бил в барабан. Спектакль продержался на сцене один сезон, был снят и забыт. А дружба осталась.

Благодаря подработке, Леденцов проживал в двух шагах от ГИТИСа. Жилищная контора предоставила молодому специалисту всеми забытые чертоги. Дом о трёх этажах, располагался в Собиновском переулке, сразу за представительством Эстонии, был расселён и на карте жилого фонда не значился. Принадлежал Министерству тяжёлого машиностроения или Министерству тяжёлой промышленности, в подвале остался архив министерства, но в Министерстве, похоже, забыли и об архиве и о доме.

Перед тем, как вселиться, Генке, из своей будущей квартиры, пришлось выгнать целую ораву подозрительных людей, обращавшихся и с домом, и с архивом самым безжалостным образом. Подозрительные люди, впрочем, особого сопротивления не оказали, во-первых, потому, что в соседнем подъезде находилась милиция, отдел вневедомственной охраны, а во-вторых, потому что знали – весь центр Москвы состоит именно из таких расселённых, но вполне пригодных для проживания домов. В один из которых, видимо, и перебрались.

Дело, о котором приехал говорить Фёдор, необходимо сопроводить дополнительными пояснениями. Примерно с месяц назад, в городе, Фёдор встретился с Мариной Письмар, молодой актрисой, бывшей женой его друга Степана Удовиченко, знакомой по театральной студии, в которую ходил до армии.

Марина была приятно возбуждена, хвалилась удачной карьерой, работой в престижном театре, уверяла, что счастлива. Собрались прощаться, и вдруг раздался обычный газовый выхлоп из проехавшей мимо машины. Марина вздрогнула и, прижавшись к Фёдору, задрожала всем телом и заплакала.

Прохожие с любопытством смотрели на неё и с нескрываемой завистью на Фёдора. Не обращая на них внимания, стирая беспрерывно катившиеся слёзы, Марина рассказала о том, что всё совсем не хорошо, а наоборот, плохо. Повсюду стены, замки и закрытые двери и нет нигде для неё ни входа, ни выхода. Успокоившись, взяла с Фёдора слово, что о слезах и бедах не расскажет Степану и пригласила в театр.

Фёдор ходил на спектакль с её участием, видел, как появилась Марина в начале первого действия и как через мгновение исчезла. Второй её выход был через три часа, должна была мелькнуть в конце, перед закрытием занавеса.

Оставив зрительный зал, Фёдор нашёл Марину в гримуборной. Рассказал о друзьях стеснённых в средствах, которые при этом не унывают, собираются снять фильм. Которые ищут, мучаются, а главное, надеются и верят. Марина этим заинтересовалась, обещала о средствах узнать и вскоре звонила и как предположение сказала о Ватракшине, художнике-живописце, известном миллионщике. Вчера звонила повторно и сообщила, что Ватракшин обещал дать деньги и все те, кто в съёмках фильма заинтересован, должны быть эти дни в Москве, ожидать звонка и похода к Илье Сельверстовичу на дом, для предметной беседы.

Об этом Фёдор приехал говорить с Генкой и с успехом переговорил по дороге к утреннему чаю.

Сидя у Леденцова на кухне, за круглым, хромым столом, более для разговора, пожаловался на жизнь, на неуважение родных к его сочинительской работе и отдыху.

– Одна комната свободна, хоть сегодня переезжай, – с радостью предложил Генка.

– Сегодня и перееду, – заражаясь радостью собеседника, взволнованно сказал Фёдор, но тут же передумал. – Не сегодня. Маринка же звонить должна, а у тебя телефона нет. Как бы Ватракшина не прозевать.

– Да, – согласился Генка. – Ватракшина прозевать нельзя. Только бы денег дал, – прибавил Леденцов с беспокойством.

– Даст, коли обещает, – успокоил Фёдор, думая о том, что и в самом деле неплохо было бы переехать к Генке и иметь возможность спокойно работать и отдыхать.

Но, долго думать ему об этом не дали.

На кухню, почти одновременно, пришли трое: Лиля, жена Леденцова, которая только что проснулась и направлялась, с зубной щёткой во рту и полотенцем на плече, умываться и Мазымарь с Горохополовым, бесшумно в квартиру вошедшие.

Игорь Горохополов был театроведом, учился в ГИТИСе на одном курсе с Лилей. Жил на улице Грановского, самовольно забравшись в выселенную квартиру. Фёдор с Леденцовым два раза был у него в гостях, пил чай, но близко не сошёлся, хотя при встречах в ГИТИСе всегда здоровался.

Пришёл Горохополов, имея формальный предлог, забрать у Лили рукопись, которую, пользуясь связями, обещал напечатать в толстом журнале.

Вадим Мазымарь был выпускником Щепкинского театрального училища, после окончания которого поступил во ВГИК на режиссёрский факультет. Проучившись два года, решил, что профессию кинорежиссёра освоил, бросил институт, стал писать инсценировки, ставить со студентами ГИТИСа спектакли на свободных площадках и искать деньги на СВОЁ кино.

Прошедшую ночь провёл у Горохополова, а к Леденцову явился завтракать и предупредить, что назначенный спектакль, который предполагал показать в больнице, отменяется, так как второй актёр, занятый в постановке, Случезподпишев, заявил, что бесплатно играть не будет.

После шумного приветствия и рукопожатия Горохополов и Мазымарь продолжили спор, который прервали на время, но страсть к которому не угасла.

– Все художники противны Богу, – говорил Игорь, – занимаются богоборчеством. Бог создал мир по своему, а они хотят его переделать на свой лад. Поэтому изначально все прокляты.

– Неправда, – отвечал ему Вадим. – Человек создан по образу и подобию, и задумывался, как творец, как художник. А, проклят будет тот, кто не занимается творчеством. И никакого богоборчества в творчестве нет. Если бы каждый смертный был творцом, как Богом и замыш-

лялось, то на земле давно бы был Рай. О чём, со всеми верующими, ежедневно и просим: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Правильно, Федя?

– Вы моё мнение знаете, – прохладно ответил Фёдор, попивая чай.

– Знаем, – подхватил Вадим, – Себя надо исправлять, а воля Его давно уже и там и здесь. Правильно? И волос не спадёт с головы. Так говорю?

Фёдор не ответил. Он не любил этих споров без начала и конца, имеющих цель не искать истину, а спросонья, перед завтраком, в виде зарядки, почесать язык. Чтобы прекратить прения о вечном и незримом, сообщил о том, что Ватракшин деньги на кино даёт, и сегодня-завтра должна звонить Марина, назначить время и место встречи.

– Старик не промах, – сказал Вадим, откровенно завидуя. – Что значит деньги. И красавица Марина, тут как тут. Хотя всё нормально. Она свободная и он вдовец, то есть лицо, получившее моральное право вести аморальную жизнь.

– Не только вдовец, любой человек имеет моральное право вести аморальную жизнь, – перебивая Вадима, вставил Горохополов.

– Чего это вы придумали? – Отставив стакан с чаем, сказал Фёдор. – Много мудрствуете.

– А ты, Федя, наверное, никогда и не соврал? – Вдруг серьёзно спросил Мазымарь.

– Почему? – Удивился Фёдор. – Врал. И, к своему стыду, очень много. Но, когда врал, чаще всего знал что вру, и знал что это плохо, так что даже когда другим врал, себя не обманывал.

– Значит, невиновен? – с прежней серьёзностью, допытывался Вадим.

– Виновен, – не понимая, к чему тот клонит, ответил Фёдор и, подумав, улыгнувшись, добавил. – Кто без греха?

– Я уж думал – ты, – сказал Вадим и рассмеялся.

На кухне снова воцарилась приятельская атмосфера.

– Знаете, – вдруг неожиданно объявил всем присутствующим Горохополов, – а я ведь женюсь.

– Не женись, – сказал Мазымарь, наливая из маленького чайничка заварку себе и Лили, пришедшей на кухню, – послушай старого холостяка. Ты хоть и театральный вед, но для вас, по большому счёту, так же, как и для актёров, женитьба это, – он хотел сказать смерть, но посмотрев на Лилию, на ходу исправился и сказал, – лишняя головная боль.

– Не слушай его Игоша, женись, – обидевшись на «головную боль» сказала Лиля и села мужу на колени.

– Женись Гарик. Женись, – поддержал жену Леденцов и тут же, переглянувшись с ней, в доказательство искренности своих слов, звонко чмокнул Лилию в подставленные губки. – А то будешь, как Феденька, – продолжал он, зардевшись, – ему женщины – что есть, что нет, всё равно.

– Правда? – Спросил Горохополов, удивляясь.

– Это ложь, – ответил Фёдор, улыбаясь.

– Неужели тоже решил жениться? – Не без ехидства, спросил Вадим. – Давай, давно пора.

– Феденьке в жёны актриса нужна, как у Чехова и Горького, – говорил Леденцов, сделавшийся от смущения совершенно пунцовым.

– Не нужна ему такая, – возразил Мазымарь, совершенно серьёзно. – Жена из актрисы никудышная. Если нет работы, поедом ест, если есть, тоже не лучше. Всё время в разъездах, в бегах. Съёмки, озвучание, репетиция в театре, телевиденье, радио. Какой-то заколдованный круг. Всем мило улыбается, хочет нравиться. Вы не находите, что в желании нравиться есть что-то порочное? Так вот, только от перечисленного с ума сойдёшь. А, потом ты к ней за супружескими ласками и слышишь – не лезь, хочу выспаться, надо завтра хорошо выглядеть. Нет, актриса ему не нужна, даже будь она сто раз знаменитая и прославленная. Такая жена хороша только для того, чтобы в пьяной компании, среди не искушённых в жизни людей, похвастаться.

И всё. Больше ни на что не годна. Стоит только из-за этого заводить канитель с женитьбой? Поверьте, нет. Актрисы, лучшие из них, только в любовницы годятся. Когда приходят на час, на два, в лучшей форме. Взял, что хотел, отдал, что имел и гуд бай, до следующей встречи. Но, я теперь и на это не согласился бы. Ну, их, всех, пропади они пропадом. Позвонишь утром, в трубке слышишь ангельское «Алло», а потом, как узнает твой голос, так сразу – «Ты? Я ещё сплю, позвони попозже». А потом ещё и спрашивать умудряется «Может, что-то не так сказала?». Понимаю, что ждала звонка с киностудии, что работа на первом месте, но не надо тогда скулить, когда второстепенное уходит. Нет, актрисы не для меня, то есть, хотел сказать не для тебя, Федя. Тебе, что, нравятся экзальтированные девицы? Ведь нет? Тебе не это нужно, тебе нужна хозяйка, нянька, чтобы в рот смотрела, подтирала бы да готовила, нужна русская мамка-кормилица, – после этих слов Вадим улыбнулся и шутливым тоном продолжал. – И потом, кто ставит перед собой высокую цель, а художник, не имеющий высокой цели, хуже преступника, тот должен уметь отказываться от всего мешающего, или же способного быть помехой. Это великая честь – иметь возможность делать людям добро. Редко человеку выпадает такое счастье. Дорожи же им. Жена, любовница, одним словом женщина – помеха для доброделания. А семя непосаянное в яд превращается.

– А как же любовь? – Не замечая шутливого тона, спросил Горохополов.

– Любовь? – Переспросил Вадим и, оказавшись в замешательстве, обратился к Фёдору. – Да? А с любовью как же?

Выходя от Леденцова, Фёдор с радостью сердечной подумал о театроведе, который не боится влюбляться, жениться. Мысленно пожелал ему счастья.

* * *

В квартире Макеевых, не умолкая, звонил телефон.

Полина Петровна, вслед за сыновьями, вышла из дома в магазин, Фрося, соседка по квартире, никогда к телефону не подходила. Галина, которую звонки разбудили, лежала под одеялом и снять трубку тоже не торопилась. Слушала протяжные гудки, знала, что звонят именно ей и пыталась отгадать, кто бы это мог быть.

– Кто же это может быть? – Произнесла она вслух, и, надев тапочки, вышла в коридор.

В коридоре её ждала неожиданная встреча. В инвалидном кресле на колёсиках, сидел незнакомый мужчина. Он снял трубку и сказал:

– Вас слушают.

Галя так перепугалась, что застыла на месте и простояла бы в таком положении долго, если бы незнакомец не протянул ей телефонную трубку и не сказал бы:

– По-моему, – вас.

Только после этого, слегка опомнившись, она начала соображать и, заметив открытую дверь в комнату Фроси, решила, что маловероятно сидящему в инвалидном кресле человеку быть бандитом или вором.

Смущаясь и краснея, она подошла и взяла онемевшей рукой трубку.

– Да? Да, какой мужик, инвалид. Половинка какая-то, – говорила она высоким, писклявым голосом, скорее не в трубку, а в спину удалявшемуся.

После того, как дверь в комнату Фроси закрылась, и незнакомец исчез, Галя стала говорить более спокойным голосом и совсем о другом.

– Не могу, – говорила она. – Ну, если тебе так хочется то – да, не хочу. Просто не хочу, да и всё. Какая тебе разница? Потому. Потому, что не получается из меня Раневской. Не знаю. Не чувствую себя приехавшей из Парижа. Чего-то не хватает, какой-нибудь экзотической вещи. Нет, не то. Нужно что-нибудь вроде длинного, резного мундштука. Видела такой на улице у одной шикарной женщины, было очень эффектно. Или... Нет, не знаю. Ладно,

в институте поговорим. Стою в коридоре босиком, в одной рубашке, а тут сквозняк. Насморк с тобой заработаю. Всё. Пока. Пока, говорю.

Положив трубку и посмотрев на соседскую дверь, Галя с ужасом вспомнила чудовищные слова, сказанные со страха. Постучаться и извиниться не хватило духа.

«Да, и неприлично просить прощения, стоя в ночной рубашке», – решила она. Закрыв лицо руками, красная от стыда, Галя пошла в свою комнату.

* * *

От Леденцова Фёдор поехал домой. Подъезжая к остановке, заметил в салоне автобуса недавнюю знакомую, сидевшую к нему спиной. По осанке, по той тревожности или лучше сказать настороженности, которая от неё исходила, понял, что и она его заметила. Остановив автобус, водитель через микрофон объявил:

– Конечная остановка. Автобус дальше не пойдёт. Просьба освободить салон.

Охая и кряхтя, из автобуса стали выходить разомлевшие пассажиры. Знакомая последовала их примеру. Отказавшись от выхода через передние двери, у которых сидела, направилась к задним. Поравнявшись с Фёдором, который стоял на задней площадке и дожидался возможности выйти, она стала разыгрывать неожиданную встречу.

– Как? И вы здесь? Очень приятно, – сказала она с издёвкой и, обратив внимание на незначительную поросль, едва заметную на подбородке и щеках, раздражённо добавила, – вижу, сегодня отлично выбриты.

Ожидая от неё чего-то подобного, Фёдор неожиданно для себя и для тех, кто ещё находился в автобусе, громко и добродушно рассмеялся. Услышав в смехе поощрение, знакомая добавила в свой тон нахальства и дерзости, и продолжала, обращаясь уже на «ты» и с той высокой нотой в голосе, с которой, иногда, позволяют себе разговаривать лишь жёны обращаясь к мужьям.

– Ты, что это, совсем обнаглел? – Говорила она. – Опустился? Ты, у настоящих мужчин спроси, по сколько раз на дню надо бриться! Спроси, спроси! – Она говорила излишне громко, как бы призывая свидетелей перед страшной развязкой, которая должна произойти. Как бы говоря всему автобусу: «Да, сейчас он меня побьёт, может быть, даже убьёт у вас на глазах. Но, все вы мои свидетели. Вы видели, что виноват был он, а не я».

Слыша тон разговора и чувствуя, что добром всё это не кончится, люди, уставшие от собственных дразг, торопились скорее выйти. Тех, известных всем типов, что теснятся поближе к скандалу, в этот раз поблизости не оказалось.

Два алкоголика, которых в своём азарте она назвала настоящими мужчинами и показала на них, ставя в пример, первые кинулись бежать из автобуса. Когда в опустевшем салоне остались лишь Фёдор и его знакомая, и играть комедию стало не перед кем, картина изменилась. Неожиданно мягко и ласково сказав: «держите», знакомая свалила из своих рук на грудь и в еле подоспевшие руки Фёдора, продукты. Пакет молока и свёрток с варёной колбасой. И столь же мягко и ласково попросила:

– Проводите меня до подъезда.

Фёдор проводил, после чего, пришёл домой.

Галины не было, поехала в институт. Дома была Полина Петровна, варила суп.

– Напугал, – сказала матушка, когда сын неожиданно появился на кухне.

– Чего улыбаешься? – Добродушно поинтересовалась она и вдруг, вспомнив о чём-то, что было поважнее женского любопытства, спросила. – Постой, так ты теперь ночью спишь? – И не дожидаясь ответа, чтобы не дать сыну возможности отвертеться, постановила. – Поедешь со мной в деревню!

Услышав про деревню, Фёдор улыбаться перестал.

– Мы договорились, – сказал он. – Печнику помогать поеду. А с клубникой – всё. Дочь свою бери, пусть она едет.

– Дочь, как и сын, не припрёшь. Учиться надо, зачёты, экзамены.

– А у меня расписание. Я сплю днём. Понимаю, что сочинительство моё за работу не считаешь, но подумай, как я поеду? Что мне, ночью с фонариком ягоду собирать?

– Сейчас же не спишь?

– С вами уснёшь. Максим пусть едет. В субботу туда, в воскресенье обратно.

– Только Максим и остался, как лошадка безотказная, – посетовала Полина Петровна и поставила на стол тарелку с только что сварившимся супом.

– Поешь, пока горячий, – приказала она, – а сама пошла в коридор, к зазвеневшему телефону.

Не торопясь исполнять матушкино приказание, Фёдор прислушался к доносившемуся из коридора разговору.

– Да, как же не беспокоиться, – говорила Полина Петровна по телефону. – В окно милиционера увижу, вздрагиваю, думаю за ним. Сколько уже не работает? И ведь уродует себя. Иссох весь, воблу из себя высушил. Меня не слушает, хоть бы ты с ним поговорил, как следует. Отвернулся б хоть ты от него. Может это подействует. Здоровый парень, не работает, не женится. Говорю, поехали в деревню, витаминов поешь, воздухом подышишь. Не могу, говорит, у меня расписание. Ты, Степан, знаешь, что такое расписание?

После этих слов, пришедший из кухни Фёдор взял у родительницы трубку и, шутя, переспросил:

– Так ты не знаешь, что такое расписание? – После чего, постояв некоторое время молча, сказал. – Подъеду к двум, пообедаем и поговорим.

– Иди суп ешь, – поспешила сказать Полина Петровна.

– Не хочу. Я Сухомлинский, – ответил ей сын, надевая ботинки.

– Смотри, Сухомлинский. Получишь от сухомляки язву, или заворот кишок.

– У Степана суп поем, – успокоил мать Фёдор и перед тем, как выйти из дома, призадумался. Пообещав Степану приехать, он тотчас об этом пожалел. Хотелось спать, постель соблазняла близостью. «Дорога туда, оттуда, – думал он. – Устану. Поздно лягу, поздно придётся вставать. А, от этого только сбой в работе».

Единственной положительной стороной поездки была возможность узнать у Степана телефон Марины, но это можно было бы сделать, не выходя из дома. Слегка подстёгивало любопытство, друг обещал неожиданных и приятных для него новостей, а ещё насторожил голос. В голосе слышались тревожные нотки. С ним разговаривал человек, которому надо было выговориться. Из-за чего, в конце концов, Фёдор и решил ехать.

* * *

На перрон Киевского вокзала, из только что подошедшего поезда, вышла девушка. Темноволосая, с длинной, до бровей, прямой чёлкой, с красивой, ниже пояса, косой и кроткими, тёмно-кариими глазами. Звали её Анной.

Каждому, взглянувшему на неё, сразу же хотелось стать её защитником. Казалось, она настолько слаба, что обидеть её может даже ребёнок, но это было не так. Обидеть её никто не мог. Кроме умиления и любви, никаких других чувств она к себе не вызывала. Была чиста, невинна и находилась под защитой всего небесного воинства.

Асфальт на перроне, по которому Анна шла, казался ей мягким и белым, напоминавшем коровье масло. С готовностью пропуская тележки, ведомые крикливыми носильщиками и людей стремящихся опередить общее движение, она шла в потоке приехавших, сияя от восторга.

Москва, залитая солнцем, была похожа на икону в золотом окладе.

Впервые увидев столицу, она едва ли не плакала. Такое впечатление произвёл на неё блестящий в свете солнечных лучей, прекрасный наш город.

Окружавшие Анну люди, виделись цветами, ожившими ей на радость, по чьей-то незримой воле. Казалось, что все они улыбаются, смеются и дружески подмигивают. А, если кто и строил кислые рожицы, так это с той лишь целью, чтобы рассмешить. И от этого становилось легко, свободно, как бывает только птице, парящей в высоком небе.

И Анна представила себя птицей, летящей над вокзалом, над поездом, стоящим у перрона, над улицами и домами не знакомого, но такого уже любимого города. И ей было не страшно. Было, как птице, свободно и легко.

За неделю до отъезда зарядили проливные дожди, и вся дорога до Москвы была проделана в сером тумане. И, вдруг, с самого утра, ещё до подъезда к городу, взору открылось ясное синее небо и озорное, играющее радужными зайчиками на ресницах, солнце. Как же забилося её сердце в тот момент. Сердце полное любви, веры и надежды.

Впереди, по перрону, прямо перед Анной, шла старушка с крохотной, плешивой собачонкой. Не разрешая четвероногой подруге себя опережать, старушка била собачонку по мордочке кнутиком. От попадания кнутика по носу, собачонка вздрагивала всем тельцем и прерывисто чихала. На что воспитанная её хозяйка без промедления желала ей здоровья, а так как кнутик практически только на нос и ложился, то слышалось непрерывное чихание и как следствие слова: «Будь здорова. Будь здорова. Будь здорова».

Эта трогательная трагикомическая картина не могла не вызывать улыбки. Улыбаясь и обходя старушку с собачонкой, получив в ряду цветоторговцев, мимо которых проходила, в подарок гвоздику, Анна оказалась на площади перед вокзалом.

Долго не размышляя, она пересекла площадь и направилась к мосту.

С моста открывалась обширнейшая панорама. Мальчишки ныряли с набережной, с каменных ступеней, спускавшихся прямо к воде. Белый теплоход, с пассажирами на борту, плавно причаливал к пристани. Ветер, налетевший с реки, играл чёлкой, обнимал за плечи, и голова шла кругом.

«Какой прекрасный город, – думала Анна, и слёзы восторга бежали по щекам, – Сколько воздуха, света! В этом городе, наверное, дни длятся бесконечно, и ночь забывает его посещать. А, если и приходит, то не в повседневном, мрачном, а в белом, праздничном, платье. Так, что никто и не узнаёт её, не замечает, что она пришла. Нет, нет. Замечают эти фонари, стоящие вдоль реки. Они с приходом ночи оживают, отражаясь в воде. Как это должно быть красиво. И живут в этом городе, непременно, одни художники и поэты».

Вдоволь помечтав, Анна пошла на другой, ещё неведомый ей, берег.

День только начинался, времени было достаточно, чтобы не торопиться с мыслями о ночлеге. Анна шла по дороге, которая, авось, куда-нибудь да выведет.

Вышла на Арбат и воочию убедилась, что её предположение о том, что в городе живут художники и поэты, не вымысел. Поэты, прямо на улице, читали стихи, для прохожих. Художники устраивали выставки, желающих иметь свой портрет, усаживали на раскладные стулья и эти портреты им делали.

Кроме поэтов и художников, били и музыканты, и жонглеры, и клоуны. Все на этой улице присутствовали. Джаз-банд играл весёлую музыку, но лица у музыкантов были грустные. Не задержалась Анна и у жонглеров, подбрасывавших в воздух кольца, а вот группа клоунов её рассмешила. Она подарила одному из них гвоздику.

Анна гуляла, наслаждаясь видом красивых людей, нарядных домов и каково же было её удивление, когда, идя, куда глаза глядят, шагая на авось, нежданно-негаданно, пришла прямо к скверу, в котором увидела родную сестру, учащуюся Государственного Института Театрального Искусства, к которой в гости и ехала.

Рита сидела на скамейке, в компании двух молодых людей, смеялась, и совершенно не чувствовала того, что сестра в Москве, стоит и смотрит на неё со стороны.

Анне захотелось окликнуть Риту, позвать её, дать знак, она уже предчувствовала ликование, радость от нечаянной встречи. Но, сдержала страстный свой порыв, решив не мешать разговору.

И неизвестно, сколько бы стояла и ждала за чугунной оградой, если бы сестра сама её не заметила. Рита встала ногами на скамейку, приставила к губам руки сложенные рупором и крикнула:

– Аникуша! А ну-ка иди сюда к нам, к иностранцам!

Вход в сквер был сокрыт в глубине двора. Проходя мимо здания института, Анна невольно остановилась, но тут же, вспомнив, что её ждёт сестра, вошла через железную калитку в скверик и подошла к скамейке.

– Анюта, сестрёнка моя младшенькая, – представила её своим собеседникам Рита, продолжая стоять на скамейке.

Анна не собиралась поступать в театральный, даже не думала об этом. Мысли, о том, что она, как и сестра будет учиться на актрису, в настоящий момент казались смешными и уносили в далёкое прошлое, на три года назад, когда учась в седьмом классе, читала со школьной сцены стихи. Она приехала не поступать, а в гости. Хотела посмотреть столицу, неведомый мир московский. Но, Рита решила всё по-своему.

– Чем чёрт не шутит, попробуешься. – Сказала сестра. – Я уверена, что сразу на конкурс пройдёшь. Правда, хороша?

Последние слова были обращены к собеседникам, которые в ответ на риторический вопрос с готовностью закивали головами.

Оставив Анну, Рита побежала в институт. Молодые люди, чувствуя неловкость, извинившись, отошли в сторону. В ожидании Риты, Анна вышла из скверика и подошла к старинному особняку с вывеской «ГИТИС», к массивным дверям главного входа. Ей до сих пор не верилось, что она ни у кого не спрашивая дорогу, вышла к институту. Казалось, стоит только, зажмурившись, ущипнуть себя и всё исчезнет.

Улыбаясь, она почти уже решила на это, как из слегка приотворившейся двери, вдруг, выскочила Рита.

– Договорилась, пойдём, – выпалила она и, схватив Анну за руку, повела за собой.

Постоянно на кого-то натываясь, юношей и девушек внутри здания оказалось так же много, как пчёл в улье, сёстры поднялись на второй этаж. На втором этаже, студент, державший в одной руке кипу листков, а другой поправлявший обильную свою шевелюру, говорил толпившемуся вокруг него абитуриентам:

– Сейчас. Ждём одного человечка и идём.

– Это тебя, – сказала Рита сестре и, вдруг, неожиданно громко крикнула, – Мы здесь!

Помещение, в которое студент ввёл десять абитуриентов, в числе которых была и Анна, оказалось довольно просторным. Окна были зашторены тяжёлыми, светонепроницаемыми занавесками, сцена имела специальное, направленное освещение, всё остальное пространство находилось в полумраке. В пяти шагах от сцены, стояли три парты, торцами сдвинутые в одну длинную, за которой сидела приёмная комиссия. Были ещё стулья, стоявшие вдоль стены, на которые вошедшим и предложили рассаживаться.

Студент с обильной шевелюрой положил кипу личных листков на парту, а сам, зайдя за спины вершителей судеб, устроился там, на заранее приготовленном стуле. Началось прослушивание. Покопавшись в личных листках, женщина, сидевшая по центру, коротко, практически под ноль стриженная, сиплым, надтреснутым голосом объявила:

– Фельдикоксов Феликс... – на мгновение она запнулась, поднесла листок поближе к очкам, державшимся на самом кончике носа, и закончила: – Фе – ра – пон – то – вич.

Она ещё раз повторила имя и отчество без запинки, попутно разыскивая взглядом, хозяйина таковых. Пробежавшись глазами по всем сидевшим вдоль стены, остановилась на паренёчке, заблаговременно поднявшемся со стула и в свою очередь в нерешительности дожидавшегося, пока его заметят.

– Давайте, Феликс Ферাপонтович, выходите на сцену. Что же вы прячетесь? – Сказала женщина, показывая рукой на подмости, как бы приглашая особо.

Нерешительный Фельдикоксов, после такого повышенного внимания к своей персоне еле поднялся по ступеням, а, оказавшись под специальным, направленным на него светом и вовсе стусевался. Окончательно потеряв желание стать актёром, он что-то пробурчал себе под нос и, сбежав со сцены, вышел.

– Та-а-ак! Соловьёв, ты где? – Недовольно заговорила женщина, обращаясь к студенту. – Пойди, дорогой, вместо этого Фельдикоксова приведи другого человечка.

– А может... – попробовал студент что-то предложить, но женщина остановила его и повторила свою просьбу. Соловьёв вышел и тут же вернулся, ведя под руку «человечка», очень похожего на убежавшего.

– Ты что, назад его? – Приглядываясь, спросила женщина, но тут же сказала. – Извините. Проходите сразу на сцену, будете у нас первым.

И, поглядывая то на поданный ей студентом листок, в котором были записаны данные вновь пришедшего, то на самого вновь пришедшего, раздражённо спросила

– Вы, что, действительно, Фельдиперсов?

– Да, – подтвердил вновь пришедший, вызвав своей искренностью всплески короткого, нервного смеха. – Фельдиперсов Сергей Александрович.

– Ну, хорошо, читайте, – сказала женщина тоном человека, не верящего в то, что ему говорят и, строго взглянув на смеющихся, в целях пресечения, шепнула своим, сидевшим рядом. – Я сегодня с ума сойду.

Не успел Сергей Александрович раскрыть свой рот, как она его снова остановила.

– Вам сколько лет? – Поинтересовалась она.

– Семнадцать, – громко и с вызовом в голосе, ответил Фельдиперсов и еле слышно добавил, – скоро будет.

– Так вы что, в девятом классе учились? В десятый только пойдёте? – Спрашивала женщина, стараясь уяснить для себя что-то непонятное.

– Да, – смело ответил школьник.

– Что «да»? Вы, что в игрушки играетесь? – Всё сильнее расходилась стриженная. – Какие же у Вас могут быть надежды на поступление?

– Очень скромные, – тихо ответил Сергей Александрович и этим ответом покорил.

Женщина, готовая не то что выгнать, а просто проглотить живьём, вместе с ботинками и каблуками, вдруг посмотрела на него ласково, улыбнулась, и мягким голосом сказала фразу, которую уже говорила:

– Ну, хорошо, читайте.

Школьник читал слабо, скучно было слушать, но не перебивали, давая возможность в полной мере потешить самолюбие скромным его надеждам.

Вслед за ним на сцену вышел студент Московского Университета. Элегантный блондин, беспрерывно моргавший и от нервного напряжения дёргавший головой. Слушать студента не стали, сказали, что ему будет полезнее прежде окончить Университет, а затем, если не пропадёт желание, пусть приходит и поступает на актёра. На его вопрос: «Не поздно ли будет»? Был дан ответ: « Не поздно».

Элегантного блондина сменил неопрятно одетый, болтливый человек. На вид ему было не менее сорока. На вопрос о возрасте, сказал «двадцать пять» и, не дожидаясь очередного вопроса, стал рассказывать о себе всё, что считал необходимым. Рассказал, что женат, имеет

двух детей, в прошлом году похоронил друга, соседка по квартире уговаривает его бросить семью и уехать с ней в Читу, работает дворником на Мосфильме, весёлый, сильный и смелый. Друзья, видя в нём массу талантов, «присоветовали» идти учиться на «артиста», что и сделал.

Его так же отказались прослушивать, мотивируя это тем, что он уже готовый артист и ему нет смысла терять четыре года на обучение. Следует идти прямо в театр и показываться там. Не смотря на то, что это было сказано с издёвкой, говорун принял сказанное за чистую монету и освободил сцену.

Его сменила девушка с кислой улыбкой и сильным акцентом, за ней вышел узколобый юноша-крепыш, переминавшийся с ноги на ногу, бывший то и дело кулаком в ладонь, прибавлявший к каждому слову стихотворения слово матерное.

И девушка с акцентом, и юноша матерщинник, и следующие четверо, все без исключения читали басню «Волк и ягнёнок», а на просьбу спеть что-нибудь, затягивали «Там, вдали за рекой».

Анна вышла на сцену последней, вышла и сквозь свет, бывший прямо в глаза, увидела, как на уставших, мрачных лицах комиссии появились улыбки. Её не стали ни о чём расспрашивать, а лишь кивком головы дали понять, что она может начинать. И Анна стала читать. Начала со стихов, которые очень любила и кроме коих, в её репертуаре более ничего и не было. Читала хорошо, уверенно и вдохновенно. Читала и видела, как у слушавших её членов комиссии, щёки, жёлтые, от табака и духоты, наливались кровью, румянились, а уставшие и поблекшие глаза начинали блестеть, как вишня после дождя.

После того, как закончила третье стихотворение, услышала аплодисменты. Аплодировал кто-то невидимый и мало того, от самых дверей, этот невидимый, крикнул: «Браво!»

Крикуном оказался мужчина средних лет с обрюзгшим лицом, одетый в светлый, узорчатый пиджак и чёрные брюки, на шее у него была повязана зелёная косынка. По тому, как все сидевшие в комиссии перед ним залебезили, Анна поняла, что крикун этот у них главный. А он, обращаясь к ней, попросил спеть и, услышав начало песни, не выдержал и своим дребезжащим тенорком, стал подпевать. Затем, мурлыча вальс, попросил покружиться по сцене с воображаемым кавалером. И снова хлопал в ладоши, кричал: «Браво!». Пошептавшись со стриженной, быстро объявил присутствующим, что все кроме Мятлевой, могут быть свободны и, обращаясь к Анне, стоящей на сцене, попросил поднять юбку и показать ему свои ножки. Анна покраснела, но всё же взялась за юбку и приподняла её до колен.

– А зарделась-то! – Говорил главный. – Это хорошо. Есть стыд, значит, есть и темперамент. Иди, давай, слазь, спускайся.

Спускаясь, Анна слышала слова главного, обращённые к стриженной: «Да, скажи, чтобы никуда больше не ходила».

Направившись к выходу, главный вдруг вернулся и, подойдя к Анне, сказал:

– А ну-ка, приподними юбку, чтобы ножки мне твои посмотреть.

– Виктор Григорич! – Раздался обиженный голос студента Соловьёва. – Да, вы же ж уже смотрели! Сколько можно?

– Да? Неужели? – Виновато спросил Виктор Григорьевич у стриженной, выстраивая на своём лице гримасу удивления, и получив подтверждение, сказал студенту, смеясь. – Не беда. На красивые ножки и дважды не грех посмотреть.

Он обнял Соловьёва за талию и, крепко прижав к себе, вышел вместе с ним из помещения, не став более настаивать на поднятии юбки.

Женщина, подойдя к Анне, очень тщательно подбирая слова, стала говорить:

– Анна Михайловна Мятлева, вы допускаетесь на конкурсный просмотр. Хорошо будет, если к конкурсу, кроме стихов, вы приготовите басню и отрывок из прозы. Если они у вас есть, то дополнительно поработайте над ними, а если нет, приготовьте и не переживайте, времени до шестого июля достаточно. Вы успеете.

Этот весёлый человек, которого вы только что видели, сам Виктор Григорьевич Романюк. Если поступите к нам, он будет вашим мастером. У вас, Анна Михайловна, хорошие данные, вы нам понравились. Мой совет, не ходите в другие учебные заведения, нашего профиля, не тратьте силы. Лучше подготовьтесь основательно к конкурсу. Всего вам доброго. До свидания шестого июля.

Выйдя из класса, Анна Риту не встретила. Студент Соловьёв оглашал последние фамилии из новой десятки, которую должен был вести на прослушивание. У дверей толкались абитуриенты и каждый что-то говорил, напевал или насвистывал, но только не молчал, как будто молчание в этих стенах преследовалось.

Сразу с нескольких сторон доносился гитарный перезвон, на него наслаивался шелест судорожно листаемых страниц. Сильные мужские голоса, наперебой кричали с первого этажа, выкликая своего друга, ходившего по второму и друг, подходя к перилам, отвечал им тем же, деланным, грудным голосом, говоря, что скоро будет, но пусть идут его не ждут.

Спустившись на первый этаж, Анна вышла на улицу и прошла в скверик, где невольно подслушала разговор педагогов.

– Не сажайте вы, Михаил Борисович, им цветов. Какой смысл? Вытопчут. Посмотрите на клумбу, видите след? – Говорила полная темноволосая женщина.

– Пусть топчут. Я новые посажу, – отвечал седовласый мужчина, одетый в коричневый костюм.

– Они же, как слоны. Снова затопчут.

– Снова посажу.

Педагоги прошли мимо, продолжая свой примитивный спор, а к Анне подошёл мужчина средних лет с пухленьким лицом и очками в роговой оправе, удобно сидевшими на толстом носу.

– Олежек Соскин, поэт, – представился он. – Печатаюсь. Закончил Литературный институт. Ищу жену с гуманитарным образованием.

Он был одет в мятые, неприлично грязные брюки и рубашку без пуговиц, не какую-нибудь модную, где пуговицы отсутствуют намеренно, а самую обычную, узлом завязанную на пупе. Обут в рваные сандалии на босу ногу. От поэта скверно пахло, а из бокового кармана брюк торчала зелёная бутылка красного вина.

– Не хочешь пройтись, прогуляться? – Поинтересовался Соскин.

Анна сразу поняла, что поэт примеряется к ней, как к возможной жене. Ей стало смешно, но удержавшись от того, чтобы рассмеяться, она отказалась от прогулки, мотивируя это тем, что ждёт сестру и ни с кем пойти прогуляться не может.

Посмотрев на неё в упор своими крохотными глазками, которые казались таковыми из-за толстых вогнутых стёкол его очков, он чему-то обрадовался, стал потирать руки и, брызгаясь слюной, заговорил:

– Отменно. Подождём сестру, а я тебе пока расскажу, как я в литературный институт поступал.

В этот момент подошла Рита, и взяв Анну за руку, не церемонясь с Соскиным объяснениями, отвела её в сторону.

– Ты с такими посмелее, – громко сказала она, неприязненно поглядывая на поэта. – Говори им прямо: «Двигай, давай, свиное рыло!». А если будешь так стоять... Ну, ладно. Как отчиталась? Что сказали?

Анна всё подробно рассказала, закончив рассказ притязаниями главного.

– Ну, с конкурсом ты что-то напутала, – сказала Рита. – Не может быть, чтобы тебя, сырую, сразу на конкурс. Ты, что-то не поняла. Сейчас узнаю. А, Романюка не бойся. Я о том, что просил тебя ноги показывать, о Викторе Григорьевиче. Он к барышням равнодушен. Помнишь того, что тебя провёл? Вот это и есть любовь его.

– Соловьёв? – Вспомнив фамилию студента, громко сказала Анна, не совсем понимая, о чём говорит сестра.

– Тихо ты. Чего кричишь? – Цыкнула Рита и, осмотревшись по сторонам, предупредила. – Хоть все об этом и знают, никому не говори.

Сходив и разузнав, как и обещала, Рита вернулась со следами удивления на лице.

– Ну, мать, ты даёшь! – Сказала она. – Ты не обижайся, что я тебя матерью. Это привычка. Тут все друг друга «старик», «старуха» зовут, или вот «мать». Ну, да ты ещё понаслушаешься. Постой, о чём? Ах, да! Навела ты шороху! Я такого, что-то даже и не припомню. Хотя, в прошлом году одного мальчика взяли, так же, сразу. Он даже по сочинению двойку получил, но вовремя позвонил мастеру, и всё уладили. Потом он, правда, быстро ушёл и месяца не проучился, что-то случилось... Да! Ну, поздравляю! С тебя пол-литра.

Рита замолчала и с застывшей улыбкой на губах, вопросительно посмотрела на сестру.

– Как? Ты и пить здесь уже научилась? – Поражённая всем увиденным и услышанным, стрижкой и покраской волос, сигаретой в руке, рассказами о Романюке, а теперь вот и таким предложением, спросила Анна.

– Смеюсь, – отшутилась сестра, отводя глаза в сторону и, вдруг став внезапно серьёзной, заговорила по-деловому сухо. – Хотя знаешь, по случаю твоего приезда и в виду такого успеха, я думаю, можно было бы шампанского, по глоточку. Как ты, не настроена?

– Не знаю, – ответила Анна.

– Ну, ладно, видно будет, – отступила Рита. – Я теперь в общежитии не живу. Ушла из общежития. Хорошо, что ты меня здесь поймала. Снимаю квартиру. Держи ключи и бумажку с адресом. Поезжай, там всё написано. Я бы с тобой поехала, но у меня сейчас мастерство и ещё дела кое-какие.

Рита отдала ключи и скрылась в здании института.

* * *

Стипендию за май месяц Максиму не дали. Ему, как и всем его сокурсникам, сказали: «Двадцать пятого июня получите за два месяца». Но, уже семнадцатого июня классный руководитель персонально звонил всем на практику и под предлогом того, что можно приехать, получить майскую стипендию, собирал студентов на перевыборное собрание.

Перевыбирать хотели старосту, комсомольского секретаря и профсоюзного организатора.

Приехав в техникум, Максим нашёл там добрую половину своей группы, собравшуюся по просьбе классного руководителя в читальном зале библиотеки. Среди своих был гость, известный всему техникуму Антипов, защитившийся в этом году и не призванный в ряды Советской Армии по причине плохого здоровья. Он говорил, что у него одно лёгкое, но курил так, будто их было три. Уверял, что одна почка, но почти ежедневно слонялся по техникуму пьяный. Возможно, про плохое здоровье лгал, и увильнуть от службы помогли деньги и связи родителей, людей влиятельных, из-за которых в сущности, его, лоботряса, в техникуме и терпели, но он получал большое удовольствие, представляясь ущербным, находящимся чуть ли не у порога смерти. Был единственный дефект у Антипова, для всех очевидный – заячья губа, так её он стеснялся и в кровь дрался с теми, кто называл его зайцем. В глаза его так не называли, а за глаза величали почти что все.

В тот момент, когда Максим вошёл в читальный зал, Антипов в сотый раз рассказывал, как защищал диплом.

– Только чертежи развесил, только последней кнопкой угол прижал и собрался рот раскрыть, просыпается Нестор, Нестёркин, председатель дипломной комиссии и спрашивает:

«Всё»? Я сразу же скумекал, говорю: всё! «Вопросы будут»? Все молчат. Тишина. Спят коллеги с открытыми глазами. И вся защита. Смотрите, пять балов.

Он показывал отличную оценку в дипломе и шутил:

– Лучше иметь синий диплом и красную морду, чем наоборот.

Слушавший Антипова Назар, заметив Максима, подошёл к нему.

Узнав, что стипендию Максим получил и, что его не видел классный руководитель, он тихо сказал:

– Кролик хочет сыграть. Карты со мной. Говорит, есть хороший чердак. Только идти надо сейчас, до прихода Балбеса.

Кроликом Назар называл Антипова, всё по тем же, уже известным причинам, а Балбесом любящие ученики, Назар не являл собой исключения, за глаза называли любимого учителя.

Чердак, на который привёл Антипов, оказался специально оборудованным для игры в карты. На одну из балок, проходившую в сорока сантиметрах от пола, была прибита фанера, выполнявшая роль стола, и кроме двух возможных мест, на той же балке, было ещё два стула, кем-то принесённых на чердак. Так что можно было играть парами.

Чьей-то заботливой рукой была осуществлена электрификация карточного столика. Прямо над фанерой висела в патроне электрическая лампочка, которая включалась и выключалась посредством вкручивания и выкручивания. Играли в «Буру» до тридцати одного, в закрытую. Играли втроём.

Приглашая Максима на игру, Назар не сомневался в выигрыше. Кроме того, что играли на одну руку, что само по себе увеличивало шансы на победу, была и ещё одна неоспоримая деталь, дававшая преимущество. Десятки и тузы в колоде у Назара были помечены, так что проиграть было практически невозможно.

Но случилось невозможное – карта, что называется, просто шла Антипову и никакие ухищрения и метки не работали. Выйдя через час из подъезда старого, двухэтажного дома, картёжники молча побрели по узкой, стиснутой домами улочке. Рывкнув, как тигр, Антипов напугал маленькую лохматую собачонку, кинувшуюся на них с недобрыми намерениями. Глядя вслед удалявшейся, напуганной собаке, все трое рассмеялись, после чего Максима и Назара посетила грусть проигравшихся игроков, а Антипов пошёл, насвистывая, не считая нужным скрывать свою радость.

Вернувшись из техникума, друзья разделились. Сытый, подзаправившийся на практике Назар, пошёл сразу на голубятню, а Максим домой, чтобы перед тем, как присоединиться к Назару, пообедать.

* * *

Со Степаном Удовиченко Фёдор познакомился в школе, в первом классе, третьего сентября.

Младшие школьники, вследствие затянувшегося ремонта, учились в помещениях учебных мастерских. И вот, третьего сентября, выйдя из здания в котором располагались мастерские, Фёдор увидел Степана, дерущегося с одноклассниками. Напавших было трое, все с одного двора, знали друг друга до школы и, попав в один класс, решили взять власть в свои руки.

Начали с самого своенравного, коим им показался Удовиченко. Долго не думая, Фёдор встал на сторону Степана. И не потому, что были соседями, а ради справедливости. Они видели друг друга до школы, но не было случая познакомиться, а жили в одном подъезде. Фёдор на четвёртом, а Степан на пятом этаже.

Степан появился в доме за неделю до школы, и всё это время был неразговорчив и держался во дворе обособленно. Многим и во дворе показался высокомерным. В тот же день,

третьего сентября, Степан пригласил Фёдора домой, познакомил с отцом и мачехой. Пили чай из хрустальных стаканов, вставленных в серебряные подстаканники, что казалось Фёдору диковинным, и Филипп Тарасович, отец Степана, учил их жизни.

– Так и держитесь, – говорил он, показывая сжатый кулак. – А если будете так, – он разжимал кулак и растопыривал пальцы, – по одному переломают.

С того дня и стали друзьями. Степан оказался совсем не высокомерным, он был ранимым и застенчивым.

В настоящее время Степан работал в комиссионном магазине, специализирующимся на радио- и электроаппаратуре. Сидел на приёмке и оценивал вещи. До его магазина Фёдору никогда не удавалось добраться менее, чем за час, а так как на будильнике, при выходе из дома, стрелки показывали двенадцать сорок пять, то как раз и поспевал к двум часам по полудню, ко времени с которого в магазине начинается обед.

Так и получилось, приехал, как раз к двум и, пожав молча другу руку, пошёл вместе с ним в кафе, располагавшееся рядом с комиссионным. Кафе было небольшое и уютное, кроме старика-инвалида, который все свои дни проводил в этом заведении, смотря телевизор и питаясь от щедрот посетителей, да двух «чернокнижников», спекулянтов, специализирующихся на перепродаже книг, там никого не было.

Степана в кафе знали, и пока одна из девиц обслуживала случайных посетителей, стоя за стойкой, другая, выслушав заказ, принесла всё на подносе прямо к столу. В кафе практиковалось самообслуживание, и подобное обхождение было редким исключением из правил. Заказано было: жареные куры, сок, кофе, хлеб, пирожные и коньяк.

– Может, и ты? – Спросил Степан, указывая на высокую объёмистую рюмку с золотым ободком.

Фёдор отказался и сказал:

– Сопьёшься ты на этой работе.

– Работа что? Работа хорошая, я плохой. И ты прав, скоро с неё уйду.

Степан выпил коньяк, запил соком и, разрывая руками румяную курицу, стал говорить совсем не о том, о чём душе его говорить хотелось.

Одет он был в грязный, с чужого плеча, свитерок и неприлично короткие, чужие брюки, что было не характерно для пижонистого, всегда щегольски одетого друга. Ногти на руках были давно не стрижены, волосы беспорядочно зачёсаны. «А ведь вчера ещё, кажется, был другим или просто не заметил?», – мелькнуло у Фёдора в голове, но он отбросил эти мысли и стал слушать Степана.

– Не рассказывал? – Говорил Степан. – Тут история со мной случилась. Автомобильный магнитофон купил и колонки к нему, отдельно, две коробки. Магнитофон хороший, мощный, колонки большие, спрятать некуда. Купил, не оформляя, чтоб потом перепродать. А Инга, напарница моя, что стекляшки принимает, рядом была, видела. Отнёс я всё в раздевалку, сунул в сумку, а сумку так и оставил на лавке. И работаю себе, ни о чём не думаю, а Инга, делать ей нечего, пошла в кабинет к заведующему и там: шу-шу-шу. Из кабинета прямым ходом в раздевалку, мне показалось, что даже как-то на цыпочках шла и оттуда все стекляшки, что скупала и припрятала, назад выносит и на полку выставляет. Мне ни слова. А, я что-то не сообразил. Тут, через некоторое время, приходит из основного магазина директриса и, не здороваясь, сразу к заведующему в кабинет.

– Из какого основного?

– Я же в филиале работаю, у нас аппаратура и стекло, а через дорогу, помнишь, вместе со мной ходил, я выручку туда относил, тот, где тряпками торгуют, вот тот считается основным. Там директриса сидит, а у нас только заведующий. И вот они из кабинета, директриса и заведующий, прямым ходом в раздевалку. Слышу, коробки перебирают, минут десять там находились. Ташат всё, что нашли, в двух руках из раздевалки в кабинет. Стали всех по оче-

реди вызывать, продавцов, товароведов, ну и меня вызвали. Спрашивают: есть ли твои вещи? Я показал на магнитофон и две видеокассеты.

– А ещё там что было?

– Ещё? Ещё видеокамера Мишкина. Это продавец. Магнитола двухкассетная, его же, фотоаппарат, ещё один магнитофон автомобильный, жвачки несколько блоков. Мишка, хорошо, в опись попал. Ещё нашли посуду, дрянную, набор. Хотели Ирку прищучить, продавщицу, а оказалось, что посуда не её, а Алёны Павловны. Той, что с Ингой в смену работает.

– Что за Ирка?

– Продавщица, стекло продаёт, рыженькая. Она им, как и я, кость в горле. Ну, слушай. Акт составили, в акте написали: обнаружили такие-то вещи, принадлежащие таким-то. Ну, и на тот день всё, а на утро следующего, велели всем прийти на час раньше, назначили собрание. Мишки не было, он в запое, жена врача вызывала, из запоя выводила. Ирка пришла, её хотели щучить, а она сказала: «Посуда не моя». Алёну Павловну никто не предупредил, на час раньше не пришла. Короче, вором остался один я, вот тут-то и оторвались. Да, забыл, им вещи из раздевалки помогала таскать профорг, кобылица из основного, хотя это и не важно. Утром на собрание, как и просила, я принёс объяснительную.

– Профорг просила?

– Директор.

– Чего же ты написал?

– Написал, что по дороге на работу зашёл в мастерскую и забрал магнитофон, который отдавал в починку. А так как хранить его негде, оставил в раздевалке, в сумке. А насчёт видеокассет написал, что администрация магазина не обеспечивает необходимым для проверки аппаратуры, поэтому принёс из дома.

– Поверили?

– Слушай. Дал объяснительную директрисе, прочла, да как заорёт: «Что ты тут написал?». И заведующему передаёт. А что же, говорю, писать? Чистосердечное признание, что для спекуляции магнитофон купил? «За кого ты нас держишь? Это новый магнитофон, любая экспертиза скажет, что новый!». Ну, думаю, скажет, так скажет. Это всё директриса говорила, а заведующий молчал и вдруг спрашивает: «Что будем с ним делать?». Она: «Уволить!». И пошла к нему в кабинет. А там одевается, кофточку накидывает, расчёсывается, готовится уходить, якобы с твёрдым намерением уволить. А наши, кассир да Ирка, шепчут: «Иди к ней, проси прощения, пока не ушла!». Они шепчут, а я не иду. Надоело быть клоуном в их цирке.

– А потом?

– Потом пошёл. Говорю: «Пистемея Витольдовна, первый и последний раз, чтоб вам пусто было». Про пусто конечно не говорю, только думаю, но всё равно заметно. Хоть и сделал виноватое лицо, ей не понравилось. Посмотрела на меня и говорит: «Прощения просишь, но я-то вижу, что не раскаиваешься!». Ещё что-то сказала и ушла. А заведующий тут как тут: «Перепиши объяснительную, как надо и можешь идти». Это было вчера, я пришёл в свой день выходной. Объяснительную переписал, написал, что купил для личного пользования и тогда же спросил магнитофон. Он: «Потом, потом, иди, на похороны опоздаешь!». А сегодня подходит Мишка и деньги суёт. Это значит, у меня забрал, чтобы самому продать и сам деньги отдать не решился, через Мишку.

– А ты его не знал?

– Знал. Но, что такой, не знал. У Мишки деньги я брать не стал. Посмотрю, как он сам их отдавать будет.

– Из-за этого уходить решил?

– Нет. Это так, будни скотного двора. И про уходить, тоже так. Помнишь Хаврошку, как она говорила, когда на соседней жаловалась: «Припёрли к стенке, по-настоящему?»

– Помню. К чему ты?

– К тому, к тому, – многозначительно проговорил Степан, глядя Фёдору прямо в глаза.

Дворничиху Хавронью, из своего детства, Фёдор помнил очень хорошо, она жила на первом этаже в том самом подъезде, где жили и они со Степаном. Помнил, как напившись пьяной, спала в подъезде, прямо на каменных ступенях и им, мальчикам, чтобы пройти домой, приходилось перелезть через неё.

Помнил, как любила она слушать песни Лидии Руслановой и конечно то, как беспрестанно жаловалась на соседней. Главное, что насторожило, при упоминании о ней Степаном, был её трагический конец. Хавронья, Хаврошка, как все её звали, после многочисленных жалоб, одну из которых так хорошо запомнил Степан, взяла и удавилась на общей с соседями кухне, привязав верёвку к трубе, проходящей под потолком. Весь стар и млад со двора и окрестностей, собрался под этим окном. Фёдору особенно врезались в память добротные шерстяные носки дворничихи, которые при выносе тела торчали из-под простыни.

И теперь, без дополнительных вопросов, Фёдор понял, что Степан заговорил о главном, из-за чего собственно, и звал.

– Знаешь, Федя, что-то происходит со мной, а что, понять не могу. Земля с небом поменялись местами. Стал потихоньку с ума сходить. Такая дрянь в голову лезет и что хуже всего, избавиться от неё не могу. Только не думай, что от этого.

Он щёлкнул пальцем по пустому бокалу.

– Какая дрянь? Чертей, стал видеть? – Не очень ласково спросил Фёдор, сильно к тому времени уставший и поневоле находящийся в состоянии лёгкого раздражения.

– Нет, – ответил Степан, – не чертей, но что-то похожее.

– И что это?

– Осенний лес.

Фёдор улыбнулся.

– Что же в нём особенного? – Спросил он.

– Да, казалось бы ничего. Прелые листья, голые ветки, а ещё... Ещё я себя вижу в этом лесу. Представь себе такую картину. Я в осеннем лесу, по листве, которая скользит, мимо чёрных, мокрых стволов куда-то иду. Как думаешь, куда? К мёртвому озеру.

– Прямо в сказку? – Прокомментировал Фёдор, опять улыбнувшись.

– Не смейся, – рассердился Степан, – всё это очень серьёзно. Ну, водоём такой, с мёртвой водой. Ты видел и сам не раз. Вода в них прозрачная, дно хорошо просматривается, но никто в этой воде не живёт, ни рыбы, ни растения.

– Теперь понял.

– Прихожу к этому озеру и смотрю на его дно. Смотрю долго. Все коряги, покрытые бурым илом рассматриваю, каждую мелочь. Так смотрю, словно это самое важное дело моей жизни, и вдруг, появляется желание броситься в этот прозрачный, тревожный, покой, в эту мёртвую воду и взбаламутить её, дать ход, жизнь дать.

– Не страшно?

– Да, какой. Просто влечёт. Так тянет, как никогда и ни на что не тянуло. Дух захватывает. Это выше всего, выше жизни и смерти. Такое, чтобы понять, нужно самому пережить, испытать.

Глаза у Степана заблестели, в них появился какой-то странный, нездоровый огонёк. Почувствовав, что он совсем обессилил, Фёдор попросил себе пятьдесят грамм коньяку и, без видимых причин разозлившись на Степана, сказал:

– Прыгай и баламуть, если тянет. Какие проблемы?

– Вот, – таинственно произнёс Степан, поднимая указательный палец вверх, и перед тем, как разъяснить это «вот», сходил, взял пятьдесят грамм Фёдору, сто пятьдесят себе, и, выпив свои сто пятьдесят, неприятно оживляясь, продолжил. – В этом-то всё и дело. Не могу кинуться в озеро, отсюда и страх, о котором тебе говорю. Понимаешь, это оказывается не моя фантазия,

а что-то само по себе существующее, постоянно преследующее меня. Сам того не желая, я просто оказываюсь пленником этого видения. Я пленник, понимаешь? Среди бела дня идёшь, переходишь дорогу и, вдруг – бац, поехало. Деревья мелькают, иду, спешу к своему озеру, в которое прыгнуть нельзя. Меня же машина может сбить в такую минуту, под трамвай могу угодить. Понял ты, хоть что-нибудь, из того что я тебе рассказал?

С минуту друзья сидели молча, лишь временами поглядывая друг на друга, наконец, Степан сказал:

– Хочешь знать, почему я разошёлся? Думаешь, слух тот, мнительность моя? Нет. Я слишком сильно любил свою жену. Так нельзя любить женщин. Это единственная и настоящая причина, и ещё знай, сегодня ночью Алёнушке звонил.

Алёнушкой, по её роли в «Аленьком цветочке», Степан называл жену Марину Письмар, с которой разошёлся, официально не разведясь.

– Номер набрал, попал не туда, а второй раз звонить не стал, передумал.

– Да, видно хорошо тебя вчера припёрло, – сказал Фёдор, понимая, как нелегко было Степану решиться на этот звонок и вдруг ласково, по-матерински нежно, сказал, – прошу тебя, пойди в церковь.

– Да, ну, её, – сразу же отверг предложение Степан. – Я был там как-то, смотрел, что и как.

– Ну, и как?

– Плохо. Поп с золотыми зубами, тут же лавка торговая, деньги звенят. Люди снуют туда-сюда, как на вокзале. Смотрю – попу все руку целуют. А я, как представил себе, что он утром этой самой рукой... Плюнул мысленно и ушёл.

– Постой, Степан, – взволнованно, но мягко заговорил Фёдор. – Ты в рот не смотри и руку не целуй, и на звон денег внимания не обращай. Приходи и стой. Следи за службой, найди священника, который понравится, а до этого просто слушай певчих. Вот так же, как какой-то силой тебя к озеру ведёт, так ты себя в Храм силой отведи. И постарайся отстоять всю службу, от начала и до конца. Поверь, всё изменится, и страхи уйдут, и земля с небом займут своё место. Всё будет именно так. Тем более, что ты сам этого хочешь. Хотя бы два раза в неделю ходи, в субботу вечером и в воскресенье утром. А, потом, если ничего положительного не произойдёт, называй меня обманщиком и делай, что знаешь.

– Ладно. Видно будет, – заторопился Степан закрыть щекоотливую для него тему, недовольный уже и тем, что разоткровенничался перед Фёдором.

И молча закончив курицу, которую всё это время держал в руках, стал весело, как будто предыдущего разговора и не было, рассказывать о внезапно объявившемся дяде, что и должно было быть для Фёдора той неожиданной и приятной новостью.

– Помнишь, ты о режиссере говорил, который хочет снимать кино, да денег нет? Родственник обещал денег дать.

– Ты прямо, как по следу. Я же с Мариной эти деньги ему достаю, Ватракшин даёт.

– Да? Марина батьковна? А, знаешь, ведь я ей вчера звонил. Набрал номер, не туда попал, а второй раз звонить не стал. Представляешь? Хотя об этом я тебе уже говорил. Был я у дядьки, – продолжал рассказывать Степан, делая вид, что дела Марины его не касаются, – да, и сегодня от него. Ночевал. Всё, что на мне, из его сундука. А костюм свой я уделал. Стирается. В трёхэтажном доме живёт, в ванной зеркальные батареи, да там много всего.

– За городом?

– В Москве. У вас, на Козловке. Да, ты этот дом знаешь, он один такой. Там в кабинете у дядьки два аквариума. В одном мелкая рыба, гупяшки с яркими хвостами, в другом бычки с острыми зубами. Он гупяшку отловит, щёлкнет ей по носу, чтобы быстро не плавала и к бычкам. Знаешь, как лопают? Сам всё увидишь. Может, завтра и пойдём. Сегодня последний день работаю, с восемнадцатого отпуск, а двадцатого тю-тю, к тёплому морю и высоким горам. Смотри, ещё не поздно передумать, поехали бы вместе. Билет на тебя куплен.

Друзья распрощались. Степан пошёл в магазин, работать, а Фёдор поехал домой, отдыхать.

Добравшись посредством метро до станции Киевская, Макеев вышел из вагона и решил продолжить путь с помощью наземного транспорта. Ждать автобус пришлось долго, и висевшая на остановке табличка, предупреждавшая, что в связи с перевозкой детей в пионерские лагеря интервалы на всех маршрутах увеличиваются, не успокаивала. Люди коротали время по-разному. Рядом с Фёдором стоял мужчина с трёхлитровой стеклянной банкой пива. То и дело он доставал соль, из бокового кармана пиджака, обмазывал ею край банки и с этого края отпивал. Старушка, уставшая от ожидания, сидела, дремала прямо на урне с мусором.

Наконец, придав ожидающим оживление, из-за угла гостиницы «Киевская», показался долгожданный автобус. Тот номер, что подошёл, был не совсем удобен, из-за маршрута, но ждать удобного не было сил и Фёдор в числе последних из желавших уехать, втиснулся в заднюю дверь.

Шёл автобус медленно, в салоне было душно. Окружавшие его люди сопели, поминутно смахивали с лица выступавший пот. Волей судьбы Фёдор оказался притиснутым к двум товарищам, один из которых при входе в автобус, случайно выронил и разбил бутылку вина. Его товарищ, сначала утешавший несчастного: «Хорошо, что свидетель есть, а то, сказали бы – жеранул», потихоньку, от утешений, стал переходить к упрёкам: «И как ты её мог уронить? Дал бы мне тогда, что ли. Я бы сунул в карман, и была бы цела. Я бы её во внутренний карман положил и всё время рукой бы придерживал. Она бы у меня не упала».

Такое соседство Фёдору не импонировало и поэтому, выйдя на следующей остановке, он с огромным трудом, но всё же влез в переднюю дверь. Там и дышалось легче и помимо всего прочего, прямо перед ним, на переднем сидении, ехала красавица. Фёдор увидел девушку и обомлел. Девушка была не просто красива, она была прекрасна. Чистота помыслов была так же хорошо видна в её глазах, как видно солнце ясным днём на небе.

Фёдор залюбовался, а тем временем в салоне стало слишком тихо. Все словно почувствовали надвигающуюся «грозу» и она разразилась. Очень стремительно, между пассажирами завязалась драка. Тишина заполнилась звонкими оплеухами, глухими ударами, криками и руганью. Началось всё с того, что человек в очках, одетый в зелёную женскую кофту на голое тело, стоявший рядом с горевавшими о разбитой бутылке товарищами, ударил кулаком в челюсть того из них, что сначала утешал, а потом стал сетовать. Удар был нанесён с такой силой, что получивший его на время потерял сознание.

Хулиган в зелёной кофте, тем временем, ухватившись руками за поручни, подтянулся под самый потолок и стал скользить спиной по людским головам, отбиваясь при этом ногами в ботинках от друга потерпевшего, кинувшегося, в свою очередь, за ним. С этого всё и началось.

Отбиваясь, хулиган стал задевать ботинками совершенно посторонних и не заинтересованных в драке людей. Но, так уж заведено, что если по-настоящему задеть кого, то человек из постороннего наблюдателя немедленно превращается в самого горячего участника. Что и произошло. Десятки людских рук стащили, а точнее сорвали хулигана с поручней и, кинув его на пол, стали топтать ногами. Что незамедлительно напугало и возмутило людей, от хулигана не пострадавших, потребовавших и приложивших свою руку к тому, чтобы избиение прекратилось.

Продолжалось бы всё это неизвестно сколько, если бы водитель, извещённый о происходящем, не подогнал бы автобус к посту милиции. Увидев жёлтую машину с синей полосой и сотрудников в форме, стоящих рядом с ней, в салоне воцарилась прежняя, не характерная для общественного транспорта, тишина. Всё само собой нормализовалось.

– Ты, что ли, буянишь? – Спросил полный краснощёкий милиционер у Фёдора, когда открылась передняя дверь.

– Нет. Не он, – вступились сразу несколько мужских и женских голосов. – Вот они. Проходите сюда.

Через несколько минут водитель, выругавшись на отказ милиционера поставить в путёвке отметку о задержке, повёл автобус дальше. Среди пассажиров не было хулигана в зелёной кофте, не было двух товарищей, известных по истории с разбитой бутылкой, и все в автобусе вели себя так, словно и драки не было. И только девушка, на которую загляделся Фёдор, тихо и ни для кого незаметно плакала.

Она вышла на одной остановке с ним, и никто не мог подсказать ей дорогу к дому, хорошо известного Макееву.

– Я покажу. Нам по пути, – сказал Фёдор, стараясь дышать в сторону.

Посмотрев на него, девушка кивнула.

Они шли мимо собачьей площадки, построенной энтузиастами на том месте, где когда-то дымил цех обувной фабрики, а потом лежали горы обломков и хлама. Мимо магазина с названием «Свет».

Шли рядом, молча, несколько раз поворачивались лицом друг к другу, как бы желая заговорить, но так и не решались на это.

Дойдя до кирпичного дома-башни в двенадцать этажей, Фёдор сказал:

– Ваш.

– Большое спасибо, – услышал он в ответ и долго ещё вспоминал эти слова и ангельский голосок, каким слова эти были сказаны.

Застав дома Максима, лениво черпавшего ложкой щи, и матушку, собиравшую рюкзак для деревни, завязавшую бессмысленный разговор о работе, Фёдор сел на диван и уставшим голосом сказал:

– На работу, говоришь? Сегодня утром предложили, весёлую и высокооплачиваемую. Сразу хотел рассказать, как пришёл, да ты со своей деревней не дала.

– Ну, и слава Богу, – с облегчением в голосе сказала Полина Петровна, – хоть мышцы разомнёшь слегка, а то засох весь.

– Что за работа? – Спросил Максим, бросая ложку на стол и отодвигая от себя тарелку.

– Вы же не слушаете, перебиваете. А, надо по порядку, с самого начала рассказывать. Иначе не поймёте.

Дождавшись, пока домашние успокоились, Фёдор стал излагать:

– Неделю назад сел я на конечной в автобус и жду, пока отправится. Смотрю, бежит женщина. Пока бежала, успела всего меня через окошко рассмотреть. Почему-то сразу догадался, что сядет именно ко мне. Хотя мест свободных было предостаточно. Так и есть, села и долго не думая – с места в карьер. Имея полную сумку талончиков, подглядел, прошу прощенья, отыскала медный пятак и с ним ко мне: «Не продадите талончик, мужчина»? Нет, говорю, не продам, женщина. Признаюсь, грубо ответил, последнее слово, так прямо с обидной интонацией и произнёс.

Она обиделась. «Как, вас никогда не называли мужчиной»? Нет, говорю. Говорю не с тем, чтобы беседовать, а так, чтобы отстала от меня. «Ах! Я вам соболезнаю». Да, да, не соболезнаю, а соболезнаю, с ударением на последний слог сказала. После этой перепалки она купила себе талончик на стороне, пробила его и временно успокоилась. Еду и думаю про себя: нет, эта не из тех, что спокойно ездят, эта себя ещё покажет. И сам сделал ошибку, совестно стало, что нагрубил, полез извиняться.

Только повернулся, полслова сказал, даже договорить не дала. Глазами сверкнула и демонстративно на весь автобус: «О чём вы? Я вас не понимаю». После этого я отвернулся к окну и ехал молча, а она разошлась, стала по-польски на весь автобус говорить, обращаясь ко всем подряд. Стала спрашивать обо всём, что в окно увидит, не у меня, а у всего салона. И так

до Кутузовской без передышки. Точно её лихорадило. На Кутузовской вышли, идём. Она идёт тихо и постоянно на меня оглядывается, и тут я снова не выдержал, подошёл.

Думаю, гостя из Польши, а я нагрубил. Стыдно. В особенности это слово, соблезную, с неправильным ударением сказанное, подействовало. И потом эта ссора, если вдуматься, совсем не из-за чего произошла. Ну, обратилась фамильярно, но она же женщина, тем более из Польши. Дай, думаю, попробую ещё раз извиниться.

Подошёл к ней, к этой паненке, а она, уже ожидавшая меня, как понесёт на чистом и родном: «Что? К даме с левой стороны? Позор! Мальчишка! Тебе сколько лет? Четырнадцать? Шестнадцать? У тебя паспорт-то есть? Щенок! Молокосос! Ты мне в сыновья, во внуки годишься. Пшёл вон! Вон пошёл!».

Представьте, идём рядом, и всё происходит на ходу. От этих её слов я опешил. Опомился только после слов: «Сейчас тебя в милицию сдам. Скажу, что ко мне пристаёшь». И то, только потому, что испугался. Остановился, а она пошла дальше.

– Ты обещал про работу, а рассказываешь, Бог знает что. А я стою, слушаю, – вставила Полина Петровна и, сказав. – Мне нужно холодильник разморозить. Да, думать, что на ужин готовить, – ушла из комнаты на кухню.

– Ну, не желаете, не буду, – проговорил раздосадованный Фёдор, которому хотелось досказать.

Он уже собрался вставать с дивана и идти в другую комнату спать, как Максим, глаза которого горели огнём внимания, остановил его.

– Расскажи. Мне расскажи.

Невольно подчиняясь, Фёдор откинулся на спинку дивана и продолжал:

– Встреча вторая. Сутенёрша. – Торжественно объявил он.

– Кто? – Робко спросил Максим, но старший брат не ответил и повёл повествование дальше.

– Сегодня утром, возвращаясь с прогулки, снова встречаю эту паненку. Кинула она мне в руки свои продукты, попросила проводить до подъезда. Недалеко, в панельной девятиэтажке живёт. Пошёл. Интересно всё-таки, что за птица. И потом, почти, по пути. По дороге случился разговор:

– Как вас зовут? – Фёдор. – Хорошее имя. – Мне тоже нравится. – Что делаете? Чем занимаетесь? Учитесь или работаете? – А вот этого, говорю, я вам не скажу. – Бойтесь? – Боюсь. – Испугались потому, что обещала в милицию сдать? – Угадали. – После этого, она мне представилась Ольгой, показала своё окно, рассказала, как вселялась. Сказала, что живёт с мужем, но уже в разводе и скоро переезжает.

Подошли к подъезду, взяла из моих рук свои продукты и как бы невзначай спросила: «Фёдор, вы никогда не занимались силовой гимнастикой»? Говорю – нет времени на это. «Очень жаль, вам обязательно, надо будет заняться. У вас интересная внешность и вы можете за вечер иметь сто, а за ночь двести. Я вам помогу. Сделаю вам карьеру».

И говоря уже не Максиму, а как бы вслух рассуждая с самим собой, Фёдор сказал:

– Только деньги на уме, кроме денег ничего. Как неразумно, как глупо живут. Всё у них просто.

– Подожди, я так и не понял, – заговорил Максим, стараясь разобраться в витиеватой речи брата. – Какую работу тебе предлагали?

– Проституткой, – резко ответил Фёдор, удручённый непонятливостью собеседника.

Встав с дивана и собираясь уходить, он вдруг сел на стул, стоящий у двери, и ухватившись за хвост новой мысли, мелькнувшей в голове, стал про себя рассуждать, надеясь за хвост вытащить и всё тело.

«Проститутка, – рассуждал он, – это не та и не тот, точнее, не только та и не только тот, кто торгует, продавая себя. Но, это так же и та, и тот, кто покупает. Это люди одного уровня, ягоды

одного поля. Всё это, конечно не новость, но почему я отчётливо понял это только теперь? Потому ли, что меня хотели купить, а точнее продать? Да. Только поэтому».

В этот момент, открыв дверь и вытирая руки о фартук, в комнату вошла Полина Петровна. Протянув старшему сыну руку, радостно сказала:

– Если с работой не обманываешь, поздравляю.

Фёдор поднялся со стула и, засмеявшись, пожал протянутую руку. После чего, перестав смеяться и не выпуская протянутой ему руки, с обидой в голосе сказал:

– Тебе всё равно, где, кем. Лишь бы знать, что сын числится работающим и можно об этом рассказать подругам. Ты ушла, не дослушала. Проституткой предложили работать, а ты – «поздравляю».

– Что ты?

– Точно. Сто рублей за вечер, двести за ночь.

– Ой, – испуганно, словно это уже решено, вскрикнула Полина Петровна и как бы даже с брезгливостью высвобождая свою руку из сыновней, умоляюще запричитала. – Что ты, что ты! Откажись! Никакие деньги не нужны. Кусок в горло не полезет. Уж лучше не работай совсем.

– Ну, вот, – снова засмеялся Фёдор. – То поздравляю, то откажись.

– Да, ну тебя. Придумаешь вечно, – сказала матушка, совершенно уверенная в том, что сын её разыграл.

Махнув в его сторону рукой, подошла к рюкзаку и принялась его завязывать.

– Максим, стипендию дали? – Спросила она у младшего, испытывая перед ним неловкость из-за того, что позволила Фёдору вести себя некрасиво и рассказывать неприличные истории.

– Нет, – ответил Максим, опустив голову.

– В субботу приедешь, буду тебя ждать. Да, смотри, утром не проспи. Попроси, чтобы разбудили. Федя, разбудит Максима в субботу, чтобы он на электричку не проспал?

– Разбужу, если заснуть сейчас дадите, – сказал Фёдор, уходя спать.

Пообедав, Максим поспешил к Назару, чтобы поделиться услышанным и узнать его мнение. Но, к своему огорчению, застал его не одного, а в компании пьяненького Вольдемара, рассказывавшего философию своей жизни.

– Что плавуче, то едуче, – говорил Вольдемар, поминутно теряя равновесие и переступая с ноги на ногу. – Я на спор могу живьём лягушку съесть. Смейтесь, смейтесь. Глухарь тоже смеялся. Ну, ёлки, полностью. С когтями, с хвостом, в сопровождении её собственного абсолютного писка.

Официально заявляю: сам ловлю, сам съедаю. Только смотрите и платите деньги, потому что съедаю не за «будь здоров – хорошо живёшь», а за советские рубли, на спор. Такса такая: лягушка – чирик, жаба – четвертак. «Что плавуче, то едуче», это мой принцип. Короче, хотите – замажем? Сам поймаю лягушку и сам у вас на глазах съем. Спрашивается – как? Безжалостно, но живописно. Есть десятка? Покажу. Но предупреждаю, зрелище не для слабонервных. Глухарь не верил, замазали. Я поймал лягушку, показал. Спрашиваю: устраивает? Чтобы не было потом разговоров. Он смеётся, говорит – лопай! Стал лопать. А я их как ем? Беру зубами за краешек головы, и всё. Дальше руками не помогаю, лягушка сама в рот идёт, как к удаву в пасть. Идти-то идёт, но пищит при этом страшно. Глухарь от этого писка, как начал блевать, так все брюки себе и уделал. Чуть не подох. Торжественное слово давал, что пить из одного стакана со мной не будет. Какой! Пошли на десятку его, я ещё добавил, взяли коньяку, как треснул – и про клятву свою забыл.

Максим, не выдержав, перебил словоохотливого Вольдемара и сообщил свежую новость:

– Брату сегодня работу предложили. С женщинами спать. Сто рублей за вечер, двести за ночь.

– Врёт! – Возбуждённо сказал Назар.

– Нет, не врёт, – поддержал новость Вольдемар с той уверенностью, будто и ему предлагали. – Я эту штуку знаю. Вдовушек обслуживать. У меня приятель, мясник, промышлял этим, пока здоровье было. Потом бросил, говорит – надоело.

* * *

Расставшись с провожатым, Анна вошла в подъезд двенадцати этажного дома и поднялась на четвёртый этаж, дотошно указанный в бумажке.

Войдя в квартиру, ощутила запах окурков и пыли. Первым делом обратила внимание на засохшую розу в бутылке из-под шампанского и волнистого попугая сидящего в клетке, который, как только её увидел, сказал:

– Как поживаешь?

– Спасибо. Хорошо поживаю, – улыбнувшись, ответила Анна.

Повсюду, и в комнате, и на кухне, толстым слоем лежала пыль, шторы были наглухо задрнуты, и казалось, что за окном не лето, а поздняя, неуютная осень.

В холодильнике стояла одинокая кастрюля, в которой плавало в бульоне отварное бычье сердце. На холодильнике, в миске с водой, отмочая, плавали, сухие грибы. Других продуктов не было. Первым делом Анна принялась за уборку и очень скоро всё заблестело и задышало. Приняв душ, сходила в магазин, приготовила из купленных продуктов ужин и стала ждать сестру.

* * *

Как стемнело, Максим с Назаром закрыли голубятню, распрощались с Вольдемаром и шли по улице домой. Назар рассказал, что приходили ребята, жаловались на Маслёнку и Мазая, просили помощи. Ребятам Максим не прочь был помочь, но на уме теперь было другое.

– Нечего жаловаться, пусть соберутся и разберутся с Маслом.

– Так и сказал. А, они говорят, что у Маслёнки постоянно нож при себе и целая шайка.

Максиму было не до ребят, не до дворовых разборок. Он, как ему казалось, давно вырос из всего этого. Отмахнувшись рукой от Назара, он завёл разговор на другую тему.

– Помнишь, ко мне лаборантка липла? Я и догадывался, что ей нужно и девчонка хорошая, фигуристая. А, не могу и всё. Словно какая-то сила держит.

– Вдовушек обслуживать, – задумчиво повторил Назар слова Вольдемара.

– Вольдемар трепло, сам ничего не знает, – убеждённо сказал Максим. – Вдовушек. Это нужно не старым, а молодым. Тем, у кого есть деньги. А от старухи, всегда можно отказаться.

– Точно, – подтвердил Назар, полностью во всём с другом согласный. – Да, как ты её найдёшь, ту, что предлагала? У брата спросишь, в лоб даст. Матери и сестре скажет, чтобы глаз с тебя не спускали.

– Зачем спрашивать, я её знаю. Почти каждый день вижу. Брат сказал, что она в панельном доме живёт, можно подстеречь.

– Не можно, а нужно.

– Да, слишком даже нужно. Мать про стипендию спрашивала, сказал, что не дали.

– Видишь, медлить нельзя. Давай завтра? Если получится, то и матери стипендию отдашь, да ещё и на голубей останется. Беленькой, курносой, купим голубя. Пары две синих для лета возьмём. И пшенички мешок, чтобы не думать, что дать, чем кормить.

* * *

Рита пришла домой поздно, сказала, что было много дел, но педагогу, который нужен Анне для подготовки басни и отрывка, позвонила и обо всём договорилась. Придёт завтра.

Закончив речь словами:

– Анюта, милая, иди, спать. Ещё наговоримся, – закурила и, отказавшись от приготовленного ужина, пошла, принимать ванну.

Анна лежала в постели с открытыми глазами и смотрела на потолок, по которому время от времени тянулись, исчезая, полосы света. Она знала, что это свет от фар проезжавших мимо окон машин. Вспомнила свой приезд, старушку с собачкой, улицу Арбат с весёлыми клоунами, поэта с его смешным сватовством, экзамен и драку в автобусе.

Особенно остановилась на молодом человеке, провожавшем её до дома. Вспоминая, отметила одну деталь. У магазина «Свет» весь асфальт был разрисован мелом. Дети нарисовали людей держащихся за руки. Прохожие смело и бездумно наступали на нарисованных людей, не замечая и не придавая рисунку никакого значения. Провожаящий её молодой человек, в отличие от них, обошёл рисунок стороной, глядя, при этом, себе под ноги. Опасаясь, как бы случайно не наступить. Она порадовалась тому уважению, с каким он отнёсся к детскому рисунку. Это говорило о том, что в груди его бьётся доброе сердце.

Она так же осторожно обошла рисунки и, как ей показалось, провожающий это отметил. Ещё подумала Анна о том, что в один короткий день уместилось много встреч и событий, возможно, таких, от которых изменится вся её жизнь. И было от этого одновременно и грустно, и радостно.

Закрывая глаза, она подумала о том, что дома всё-таки лучше.

Почти заснула, как в коридоре тихо затрещал телефон. Слышала, как Рита с кем-то разговаривала, после чего ходила, шмыгая шлёпанцами, то к входной двери, то на кухню. Слышала, как кто-то вошёл в квартиру без звонка. Всё это Анна слышала, находясь в полудрёме. Засыпая, вспомнила на миг солнечное утро, то, как летела птицей над светлым городом, и улыбнулась.

Часть вторая

Четверг. Восемнадцатое июня

Утром, хорошо выспавшись, сладко потянувшись и ещё некоторое время полежав в постели, Анна встала и пошла на кухню. По её предположению там, на диване, должна была спать сестра. Но, на кухне вместо Риты она обнаружила незнакомую женщину, совершенно голую, занимавшуюся зажиганием спичек и палением волос на ногах. Причём для удобства процедуры незнакомка, чувствуя себя на чужой кухне по-домашнему, ставила обрабатываемую ногу на табурет, туда же, рядом со ступнёй, складывались отгоревшие спички, которых собралось десятка три.

Отвлекаясь от своего занятия, но, не снимая при этом ноги с табурета, незнакомка обернулась и осмотрела первым делом ноги вошедшей.

– Тебе хорошо, не растут, – сказала она и тяжело вздохнув, стала оправдываться. – Конечно, есть мази, гели специальные, машинки электрические, бритва, наконец. Но, народное средство верней.

Говоря про народное средство, незнакомка, для наглядности, потрясла коробком в воздухе.

Уловив во взгляде Анны нечто среднее между испугом и вопросом, она постаралась её успокоить, а заодно и представилась.

– Марго скоро придёт. Меня не бойся, я её подруга. Зовут Ольгой.

Рита действительно скоро пришла и принесла с собой сумки-пакеты, набитые, за редким исключением, заграничными продуктами.

Принесённое Ольга наскоро просмотрела и из всего изобилия выбрала синюю, килограммовую, банку осетровой икры и белые жестяные банки с пивом.

Приготовленные вчера вечером Анной макароны, были так же востребованы для завтрака. Ольга, одевшись, подогрела макароны и предложила их Анне, вприкуску с чёрной икрой. При этом рекомендовала всё это запивать пивом. Уверяла, что нет ничего вкуснее. От пива Анна отказалась, а макароны с икрой ела и смотрела на сестру, которая слушала гостью, разинув рот.

Гостья, слегка захмелев, то и дело поправляла волосы на голове и трещала, как сорока. Ей не понравилось, что Рита вернулась в тёмных, солнцезащитных очках.

– Зачем очки надела? Муж мой синяков наставил?

– Да, нет. Для красоты, – смеясь, ответила Рита.

– Что же это за красота такая? Глаза – самое прекрасное, что есть у дамы, – прятать за чёрными стёклами? Слепые, наверное, придумали. Только от них такая мода могла пойти. А, всё из-за того, что кавалеров настоящих не осталось. Теперь такое время, что всякий маломальски себя уважающий мужчинка бежит или давно уже убежал. Оглянитесь, посмотрите вокруг, кто остался? Что, извиняюсь за выражение, осталось? Это же позор! Не умеют ничего. Не знают элементарного, простейшего. Не знают даже того, что дамам нужно дарить цветы букетами. Огромными, неподъёмными букетами.

Рита, не выдержав, прыснула смешком и попыталась что-то вставить в быструю, как стремнина, речь госты, но та ей этого сделать не позволила и продолжала, как бы на ходу сообразив, что ей хотели сказать.

– Хорошо. Пусть воруют, если они нищие. Даму это не должно интересовать. Что ж, по-твоему, он придёт без цветов, скажет – извини, денег нет? Да, он придет и скажет. Это по-русски. Но, не пройдёт! Я ему на это так отвечу. Хорошо, у тебя мало денег или нет совсем. Но, ты мог купить один цветок? Один, но такой, чтобы стоил целого букета? Я это так понимаю.

А, что проку в трёх согнутых гвоздичках? Хорошо, что ещё ума хватает по две не дарить. Ну, правда, подруги? Ну, что за радость для дамы эти гвоздички, или несколько средненьких роз, непонятных? Не то розы, не то цветки шиповника дикого. Я бы на месте тех дам, кому такие подносят, этим букетом да по физиономии. И, в цветовой гамме, никто не разбирается. Идёт парочка, она несёт в руках такие бордовые, что разве только старухе прилично дарить. Кто их только выдумал, эти бордовые розы? Они же почти чёрные! Фу, какая мерзость! Только на могилу, а они – избранницам!

Взяли привычку жёлтые дарить, дубы стоеросовые! Жёлтые и белые – это цветы для интерьера. Спокойные, приятные цвета, в крайнем случае, со значением, к разлуке, можно послать. Но, как это так, в знак симпатии, любимой женщине взять и дарить жёлтые розы? Ужас! Кавалер остался необразованный, такой, что дамой здесь лучше и не быть. Зря, Марго, улыбаешься, ничего не выдумываю, всё чистая правда.

То дарят, как девочке семнадцатилетней, нераспустившиеся бутоны. То разухабистые, перецвет, как столетней. Тебе с сестрой здесь жить, ещё не раз столкнёшься. Я всё это так болезненно переношу, так близко принимаю к сердцу, что не хочу об этом даже и думать. Но, как не думать, когда сталкиваешься с этим на каждом шагу? Ну, не буду. Не буду. Да, Марго? Не будем об этом думать? Давай не будем, чтобы не расстраиваться. И последний совет. Никогда не переодевайтесь при мужчине. Заведите ширмочку или просите отвернуться, не смотреть. Хорошенько запомните, это первое правило. Разве, когда сами попросят, чтобы при них, тогда можно. Ну, это отдельный разговор.

– Нет, значит, правил без исключений? – Вставила, наконец, Рита своё слово и, торопясь, сбиваясь, рассказала о том, как в институте одна студентка, при всех, грозилась отравиться, если муж от неё уйдёт.

– Все смеялись над её слезами. Над её наивностью, – говорила Рита. – Не понимаю, как можно так унижаться, должна же быть какая-то гордость женская?

– Гордость, нужна той, которую любят, – необыкновенно серьёзно и грустно заговорила вдруг Ольга, – а той, которую разлюбили, она ни к чему. Смешно даже гордой быть, когда тебя бросили. Поверь, Марго, не до того. Не осуждай. Какая тут к чёрту гордость, когда земля из-под ног уходит? Я тоже в своё время на коленях ползала, рыдала, за брюки, за полы плаща его хваталась, как собачка беспомощная. Целовала грязь на его ботинках, следы на полу. Всё это, со стороны, вроде как ни к чему, ведь поздно, ничего не изменить, не вернуть. Но я это делала не для него, не для людей всё это наблюдавших, а для себя. Чтобы с ума не сойти, не умереть на месте. И поверь, что в такие минуты только это от гибели и спасает. Слабые мы, бабы, жизнь в нас еле теплится. Нас надо беречь, прятать от ветра, а этого никто не понимает.

Ольга позавтракала и ушла. Закрыв за ней дверь, Рита вернулась на кухню и стала объяснять сестре ситуацию.

* * *

Стоя на единственной дороге, ведущей к остановке, Максим и Назар поджидали известную особу.

– Вот она, не оборачивайся, – сказал Максим, глядя другу за спину. – Спешит, не подходящий момент.

– Другого не будет. Подойди. Нет – так нет. Не убьёт же, а станет кричать – убежим.

Обернувшись через некоторое время, Назар увидел Максима, стоявшего рядом с холёной, нарядно одетой и модно причёсанной женщиной. Максим говорил с ней спокойно, как с приятной соседкой. Назар даже позавидовал его умению так общаться с незнакомыми людьми, да ещё тогда, когда так много от них нужно. В процессе разговора, Максим часто показывал рукой в его сторону, после чего она о чём-то спрашивала, снисходительно улыбаясь.

Разговор их был недолгим и закончился вырванным блокнотным листом, на котором женщина прежде что-то написала. Она хотела писать ручкой, но ручка перестала работать. Не растерявшись, долго не думая, она достала губную помаду, и ею, как карандашом, очень ловко расчеркнулась.

Проходя мимо, холёная остановилась и сказала:

– Здравствуйте, Назар, меня зовут Ольгой. До скорой встречи.

Добавив к этому прощальный жест рукой и слово «Чао», она побежала к остановке, цокая каблучками по асфальту.

– Чао-какао, – зло прошептал Назар, глядя ей в след и, сплюнув через щель между зубами, спросил у подошедшего Максима, о чём он с ней так долго говорил.

– Ни о чём. Объяснил, что нам нужно. Спросила, имеем ли об этом представление. Ещё спросила, сколько лет, как тебя зовут и сколько было женщин. Сказал, что ни одной. Над этим посмеялась, сказала «хорошо», написала рабочий телефон и просила, чтобы в два часа ей позвонил.

– Сегодня чтобы в два звонил?

– Да.

– Что ни одной, ты зря сказал. Смеялась, говоришь?

– Да нет. Не то, чтобы смеялась. Мне показалось так. А почему зря?

– Не знаю. Чёрт с ней. Позвонишь?

– Конечно, позвоню.

Максим смотрел на блокнотный лист с телефоном, написанным помадой. Это был пропуск в неведомый мир, полный новых, неизвестных ощущений.

* * *

Когда Ольга ушла, Рита, закрыв за ней дверь, вернулась на кухню и стала объяснять сестре ситуацию.

– Она с мужем развелась, но живёт с ним в одной квартире. Супруг вчера нарезался, грозился её убить. А на самом деле он тряпка. За продуктами сегодня ходила, он мне руки целовал, просил, чтобы я Ольге передала его извинения.

Убить не убил бы, но случайно задеть мог. Был бы синяк или ссадина, а Ольга за американца замуж собралась. Зачем рисковать? На старикашке женится. Не из простых, какой-то там чего-то профессор. Представляешь, у него на теле нет ни одного волоска? Совсем ни одного, нигде. Ни на голове, ни на руках, ни под мышками. Такие вот бывают американские профессора.

Ольга в гостинице «Космос» в варьете работала, а сейчас переводчица. А познакомила меня с ней подруга Жанка. С Жанкой вместе поступали. Её в Шуку взяли, а меня в ГИТИС. Помучили её, помуржили, и после первого курса отчислили. В «Космосе», у Ольги, пришлось ногами дрыгать, зато теперь устроена. Ольга ей мужичка нашла, не американского, но тоже в возрасте и богатенького. Она добрая, Ольга. И, эта квартира её была, она снимала, уступила мне. Что ни попросишь – пожалуйста. Вот икрой покормила. Да, сколько всего ещё оставила.

Давай, заканчивай с едой и пойдём. Пора старуху встречать, – закончила Рита, вставая из-за стола и закуривая.

– Какую старуху? – Удивилась Анна.

– Насчёт отрывка твоего. Правда по сто рублей берёт за подготовку, но дело знает. Готовит хорошо.

– А, без неё нельзя?

– Нельзя. Я не режиссёр. Нужен педагог, понимаешь? Старуха эта и меня готовила. Не пожалеешь. Деньги с собой привезла?

– Двести рублей.

– Хватит на всё.

На остановке, ожидая педагога, Рита рассказывала о ней.

– Старуху зовут Зинаида Кононовна, фамилия Пистолет. Вот-вот, к тому и сказала, чтобы при ней не хихикала. Она обидчивая, злая, затаит – не вытравишь. С гонором старушонка, табак жуёт, матом ругается. Длинную жизнь прожила, много видела. Расскажет, как с Завадским выступление «Комеди Франсэз» смотрела, как он плевался, ругал их цирком, а после спектакля вышел на сцену и со слезами на глазах сказал, что ничего лучшего не видел. Расскажет о той знаменитой репетиции, когда Станиславский «думал», а ученики по одному бегали звонить домой, успокаивать домашних, и сидели всю ночь, не осмеливаясь уйти. Расскажет, как «Современник» хотели закрыть и как студенты его отстояли. Всё это, скорее всего, выдумки, она слегка, что называется, со странностями. Но, не беда. Главное, дело знает. Вот, кстати, и она.

Из автобуса вышла женщина, нисколько не похожая на старуху, какую Анна успела себе представить со слов сестры. Это была невысокая, слегка полноватая, румянолицая особа с толстым неровным носом и озорными глазами. Одетая была в серое габардиновое пальто, служившее, судя по виду, бесценно долгие годы, чёрную шляпу, ставшую от времени бурой и мужские полуботинки. В руке держала тряпичный зонт, на который опиралась, как на трость.

– Ну, здравствуй, моя прелесть! Хороша! Отлично выглядишь! – Обратилась она к Рите, целуя и обнимая её. – А эту красавицу откуда взяла? Ты о ней говорила? Представь её мне. Как зовут?

– Сестрёнка моя младшенькая, Аня.

– Нюша? Нелли буду звать. Ты, ангел, не обидишься, – спросила она у Анны, – если я стану называть тебя Нелли? Аня, Аня, не всё ли равно? Правда? Позволишь мне эту блажь? Ну, вот и славненько. Маргарита, автобусная остановка место опасное, здесь могут оскорбить и унижить. Веди, нас с Нелли, в свои хоромы.

Всю дорогу, от остановки до дома, подобно ушедшей Ольге, Зинаида Кононовна, без умолку трещала.

– Нелли, – говорила она, обращаясь к Анне, – тебе сказали, что я – Пистолет? Да? Ха-ха! Превосходно! Но ты, дитя, не бойся. Я не стреляю. Это фамилия не родительская, а моего последнего. Так сказать, бывшего. Впрочем, согласишься, есть и в ней, что-то уху приятное. Пистолет! Ведь, правда? Правда? Ха-ха. Вот и славненько.

Придя в квартиру, Зинаида Кононовна отослала Риту в булочную, купить ей хлеба домой, а сама села на диван, стоящий на кухне у окна, попросила Анну встать так, чтобы солнечные лучи её хорошо освещали, и велела что-нибудь почитать. Сама же стала, с какой-то болезненной жадностью вслушиваться в каждое её слово, всматриваться в каждый её жест.

Анна, по совету ушедшей за хлебом сестры, читала письмо Татьяны.

– Так, так. Хорошо! – Восторженно крикнула Зинаида Кононовна, сразу по прочтении, и, требуя к себе немедленного внимания, дважды хлопнула в ладоши. Но тут же забыв о том, что хотела сказать, облокотилась на спинку дивана и тихо, для себя, повторила: «...Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать».

Опомнившись, обращаясь к Анне, она заговорила:

– Я буду с тобой работать. Знаешь, я работаю не со всеми. Берусь только за тех, чья звезда мне ясна. В ком полагаю видеть будущую актрису. Не улыбайся, голубушка. До звезды тебе ещё далеко. Но, кое-что от звёздочки в тебе есть, и мы попробуем это развить. Маргарита сказала, что тебя допустили на конкурсное прослушивание, она известная погремущка, скажи мне сама, так ли это?

– Да.

– Очень хорошо, – сказала Зинаида Кононовна, действительно этому обрадовавшись. – Мы тебя подправим, вооружим басенками, сильный отрывок сделаем и смело явимся на конкурс. Тебя сестра предупредила об оплате?

– Да.

– Славненько. Вот. А теперь я должна сделать тебе признание. Со всех я беру за подготовку по сто пятьдесят рублей, но так как ты мне понравилась, с тебя возьму всего сто. Как? Согласна?

– Да.

– Вот и превосходно. Всё «да» и «да». Но это хорошо. Скромность тебе к лицу. Забыла предупредить. Деньги я беру только после того, как мой птенец поступает в институт. Так и только так. Только на этих условиях я договариваюсь со своими учениками.

Зинаида Кононовна вдруг замолчала, задумалась, сделала озабоченный вид и, пронизательным взглядом ощупывая Анну, тихо спросила:

– А у тебя есть деньги, чтобы по сто рублей мне платить?

– Есть, есть, – стала успокаивать её Анна.

– Деньги-то, небось, мамкины? – Не успокаивалась Пистолет. – Нет, мои. Я их заработала. После школы с ребёнком сидела, мне за это платили.

– Молодец. Умничка. Приятно слышать, – успокоилась наконец учительница и тут же сказала. – Тогда дай мне вперёд. Понимаешь, у меня небольшие трудности.

– Конечно, конечно. Возьмите, – сказала Анна, прерывая объяснения и протягивая сто рублей.

– Спасибо, – поблагодарила Зинаида Кононовна, неприлично быстро пряча полученные деньги. – А, знаешь, ты талантливее сестры. С ней я намаялась в своё время. Понимаешь, нет в ней главного. Не чувствует гармонии. Бывало, выйду из себя, сниму с ноги ботинок и швырну в неё. А, она подберёт, несёт его мне и говорит: «Бросайте ещё, только не сердитесь». Когда она в институт поступила, я в больнице находилась. Сосед у меня пьянчужка, хам, я с ним повздорила, а он взял, да голову мне сковородкой проломил.

Долгая история, неприятно вспоминать. Что же ты думаешь? Лежу в палате, дверь открывается, входит Маргарита. А, в руках у неё охапка живых цветов. Я так и обалдела. А она рассказывает: «Иду с букетом по улице, все на меня оглядываются». Я тогда её хорошенько отругала. Транжира она. Любит деньгами сорить. Этого я ей тогда конечно не сказала, ты и теперь не говори. А не сказала потому, что всё равно бы не поняла и даже слушать не стала. Лучше бы соков принесла, да и у самой бы деньги ещё остались. Ты, Нелли, смотри за сестрой. Хорошенько смотри. Слышишь? Где же Маргарита? Она просила, чтобы я поработала и с ней, ну да не сегодня. Сегодня времени нет. Я сегодня, Нелли, пойду. Так сестре и передай, что ушла. А, завтра приду и буду с вами работать. Хлеб мой съешьте, я себе по дороге куплю.

В этот момент Рита вернулась из булочной и, узнав, что с ней и с сестрой будут работать завтра, сказала:

– Зинаида Кононовна, не отпущу, пока не отведаете моего грибного супа.

– Плутовка, – рассмеялась Пистолет и, подойдя к Рите, обняла её и поцеловала. – Знает, что грибной мой любимый. Ну что же, давай, накрывай на стол, будем с Нелли суп твой пробовать.

За супом Зинаида Кононовна размякла, глаза её осоловели.

– Очень вкусно, – говорила она. – Я, как ни стараюсь, никогда такого не получается. Маргарита, отдай секрет.

– Всё очень просто. Готовится мясной бульон...

– О! Я так и знала! А я без бульона. Этот на мясном?

– Да. Сердце говяжье отварила.

– А-а! Вот он, главный секрет. Не мясной, Маргарита, а сердечный бульон нужен. Так, Нелли? Я права, Маргарита? Для хорошего супа обязательно нужен сердечный бульон!

Провожать Зинаиду Кононовну, по собственной просьбе учительницы, отправилась Рита.

– А ты отдыхай. Нечего по улицам лишний раз мотаться, – сказала Анне Пистолет. – Не ровён час на хулиганов наткнёшься. Их много здесь. Москва – опасный город. Возьми лучше книжку, сиди и читай.

На этом Анна с Зинаидой Кононовной и распрощалась.

* * *

Утром Фёдору позвонил Степан, сказал, что сегодня к полудню им необходимо быть у дяди.

– К полудню, так к полудню, – нехотя ответил Фёдор, понимая, что после бессонной ночи ему и днём не придется спать.

Дом, в котором со слов Степана жил его дядя, Корней Кондратьевич Черногуз, Фёдору был известен и находился в пяти минутах ходьбы, на Козловке.

Козловкой, по названию одной из улиц, величали и весь посёлок, утративший собственное имя. Чудом сохранившийся в центре индустриального района, посёлок продолжал жить тихой и размеренной жизнью, своим укладом.

Окружённые глухими заборами, с садами и огородами, стояли и радовали глаз бревенчатые дома. Из-за заборов лаяли собаки, а по улицам мирно бродили козы. Людей козы не боялись и в жаркие летние дни бесстрашно подходили к колонке, утолить жажду. Пили из не просыхающей лужи.

Дом, в который направлялись Степан и Фёдор, был на Козловке самый красивый. Неимоверных размеров, построенный в форме сказочного терема, он поднимался на три высоких этажа, был крыт медью и ни собак, ни коз возле себя не терпел. В детстве, шагая через Козловку к ближайшему кинотеатру, Фёдор всегда засматривался на этот терем. Но, сколько ни старался, никогда не замечал в нём хоть каких-нибудь признаков жизни. Окна, выходящие на дорогу, всегда были зашторены и не единой души вокруг. Мог ли он тогда предположить, что будет когда-то приглашён в этот таинственный дом самим хозяином? Нет. Даже мысли такой не могло зародиться.

Однако войти через парадное крыльцо не удалось Фёдору и на этот раз. Не доходя до терема, Степан сказал: «сюда» и друзья свернули на улицу, проходившую параллельно той, на которой стоял дом-красавец. Подняв голову и увидев в синем небе воздушного змея с длинным, красным хвостом, Фёдор подумал: «Неужели ошибся? Нет, не мог. Второго дома в три этажа на Козловке нет».

– Мы с чёрного хода, – сказал Степан, как бы отвечая на его мысли.

Он смело подошёл к крепкому, глухому, двухметровому забору с табличкой: «Осторожно, злая собака» и повернув ручку самодельного замка, открыл калитку. Молча вошли. Шли мимо пустой собачьей конуры, мимо одноэтажного бревенчатого дома, не подававшего признаков жизни, обходили фруктовые деревья и по тропинке, очень скоро, подошли к терему с тыльной стороны, которая так же, как и фасадная, была безлюдна и тиха. Но, когда друзья, выйдя из сада, оказались на усыпанной гравием площадке, у самого дома, то прямо как из-под земли, перед ними появился молодой поджарый мужчина лет тридцати пяти, одетый в дорожной спортивный костюм и спортивную обувь. У него были светлые глаза, казавшиеся тёмными и три неестественно белые, будто седые, ресницы, заметно выделявшиеся среди других и при первом же взгляде на лицо, привлекавшие к себе внимание.

Взгляд он имел холодный и голодный, как у дикого зверя. Голова поворачивалась только вместе с туловищем, шея не работала. Был похож на волка, которого Фёдор видел в зоопарке. Мужчина имел самый недружелюбный вид, но узнав Степана, как-то сразу подобрел и, поздоровавшись крепким, коротким рукопожатием, ничего не сказав, достал из курточки сигарету с зажигалкой и закурил.

– Пойдём, чего ты? – Сказал Степан остановившемуся в нерешительности Фёдору и, открыв дверь, почти втокнул его в тёмный длинный коридор, с другой стороны заканчивавшийся дверью выходившей на парадное крыльцо.

В стенах коридора были две двери, одна крест-накрест забитая досками, другая с обычным звонком. По-хозяйски уверенно Степан позвонил, сделав один длинный и один короткий звонок.

– Здоровеньки булы, Марко, – сказал он, шутя человеку открывшему дверь. – Мы к Корнею Кондратьичу. Он знает, я звонил.

– Здравствуйте. Рады видеть, – не заставляя себя долго ждать, ответил Марко и, впустив гостей в прихожую, закрыл за ними дверь.

Одет он был в домашний, стёганный халат. Из-за чего Фёдор, в первое мгновение, принял его за хозяина, но как только Степан назвал его Марком, то это представление сразу же исчезло.

Это был полноватый мужчина возраста, который определяется как далеко за сорок. Загорелое и обветренное лицо имело приятный цвет. Имел значительную лысину на лбу и темени, и не большие островки жиденьких черных волос, на шее и над ушами. Был шрам, проходивший через глаз, по лбу и щеке, и глаз там был стеклянный. Стеклянный глаз был светло-серым, а собственный темно-карий. Нижняя губа выступала вперёд, придавая лицу выражение пренебрежения ко всему и вся. Подбородок был круглый, маленький, его почти что не было.

Заискивая, вставая на цыпочки и подтягиваясь к самому уху Степана, Марко стал что-то нашёптывать. Понять, что шепчет, было нельзя и, сделав несколько безуспешных попыток, Фёдор стал смиренно ждать, чем всё это закончится. Сказав: «договорились», Степан взял Фёдора за предплечье и повёл за собой.

Удовиченко пришёл к дяде не с пустыми руками. Принёс чемодан с вещами, собранными для отпуска, потому как двое суток остававшиеся до двадцатого, намеревался прожить в тереме. Чемодан Степан спрягал в прихожей.

Обитая шёлком и бархатом прихожая напоминала огромную шкатулку. Зеркало, висевшее на стене, это ощущение только усиливало.

– На публичный дом похоже, как я его себе представляю, – сказал Фёдор, спускаясь куда-то вниз по лестнице, когда Марко слышать его уже не мог.

– Что-то вроде того и есть, – ответил Степан, шагая впереди.

Спустившись, друзья оказались в настоящем ресторане, с эстрадой, освещённой разноцветными огнями, столами, квадратными по форме, покрытыми белыми скатертями, с небольшими светильничками, стоящими по центру, излучавшими розовый свет, а главное – с характерными для таких заведений запахами и посетителями.

– Красиво, – дал оценку Фёдор, от души удивляясь увиденному. – Это что, подпольный?

– Подвальный. Для личного пользования, – с гордостью ответил Степан и, указав на свободный столик, у самой эстрады, с табличкой «Просьба не занимать», сказал. – Садись. И на пол посмотри, ты такого ещё не видел.

Пол был синего цвета, прозрачный, светящийся, весь усеянный пузырьками различного размера. Можно было представить, что терем стоит на огромной, полированной льдине, привезённой с северного полюса.

Централизованного освещения в ресторане не было, был специальный свет, направленный на эстраду, свет от светильников, стоящих на столах и свет, скользивший по стенам, где за толстыми стёклами в изумрудной воде беззвучно бурлил и поднимался воздух.

Поражал запах в ресторане. Угадывались спиртные пары, ароматный, почти полностью поглощаемый вентиляцией, табачный дым, и сладкие, тонкие, пикантные запахи кухни. С эстрады, притопывая своим разудалым песням, пели яркие, нарядные цыгане. Да, это был настоящий ресторан и притом шикарнейший.

– Думаешь, кто здесь хозяин? – Спросил Степан, необыкновенно вдруг повеселевший. – Я хозяин. То есть, пока конечно, не я. Но дядька, стоя передо мной на коленях говорил, что в неоплатном долгу передо мной, за мать. Так что все эти у меня вот здесь, – Степан обвёл глазами присутствующих, сжал кулак и показал его Фёдору. Фёдор вспомнил, что именно так, по любому поводу, любил сжимать и показывать кулак отец Степана, Филипп Тарасович.

– Теперь смело можешь с работы уходить, – сказал Фёдор, желая сменить тему, так как знал за другом некрасивую привычку похвалить себя.

– Зачем? А-а, ты про магнитофон. Всё уладилось. В мой выходной, пока был на похоронах, в магазине, оказывается, была проверка из торгова, у директрисы.

– Пистемеи Витольдовны?

– Во-во. У этой самой Пистемеи сапоги нашли. «Что ж ты не довольствуешься малым». – Это она мне говорила, когда я прощения просил. И у заведующего нашли. Вот уж кто обнаглел, так это он. Ирка рассказывала, как он бегал весь красный. Сам из кафе им кофеи на подносе носил. Они всё у него описали, акт составили, но всё же сумел, откупился. Отдал им и свою ручку с золотым пером. Это он мне потом сам рассказывал. Мишка, утром, деньги совал, я не взял.

– Помню.

– Думал, заведующий, загнал магнитофон за моей спиной.

– Ты мне это вчера говорил.

– Вот. А после обеда, только ты ушёл, пришёл заведующий, с утра его не было. Мишка ему объяснил, что я деньги не взял. Вызывает к себе. «Понимаешь, такая суровая проверка была, проверяющему твой магнитофон понравился. Я и сам, кроме всего прочего пострадал, пришлось ручку подарить». И деньги мне эти даёт. Ну, тут я ладно, когда так.

Подошёл официант и Степан, мгновенно переключившись, стал делать заказ:

– Украинский борщ, свинину на рёбрышках и овощей.

Записав всё в книжечку, спросив о здоровье и получив утвердительный ответ, официант ушёл.

– А тебя действительно здесь знают, – сказал Фёдор, ожидавший того, что их погонят из-за стола. – И сколько будет стоить украинский с сотоварищами?

– Нисколько, – ответил Степан. – Я же говорил, это не для прохожих. Ресторан для своих, для гостей. Видишь сколько, всех кормить надо.

Посмотрев по сторонам и увидев, что за каждым столиком сидели люди, Фёдор согласился. Гостей действительно было много.

– Хлеба не заказал, – напомнил Фёдор, глядя по сторонам.

– Может, по пятьдесят, для аппетита? – Пропуская замечание о хлебе, предложил Степан.

– Ты же говорил, что нужно будет с Черногузом пить? – Напомнил Фёдор. – Спить хочешь?

– С дядькой чисто символически. Слегка пригубишь, а захочешь, можешь отказать. А от пятидесяти грамм, под хорошую закуску, ничего не делается. Поменьше, Макейчик, волнуйся. Чувствуй себя, как дома. Можешь даже побезобразничать.

Посматривая на улыбающегося от поучений друга, Степан заказал подошедшему официанту, четыреста грамм водки.

– Столичную, Сибирскую, Московскую, Пшеничную? – Стал уточнять кудрявый, седой старик, выставляя с подноса на столик борщ, хлеб, ломтями нарезанный, и блюдо с овощами да зеленью.

– Андроповскую, – подсказал Фёдор, замешкавшемуся в выборе другу.

– Андроповской нет, – признался официант, виновато глядя на Фёдора.

– Он, Карпыч, будет пить «Столичную», как и я, – успокоил Степан, потерявшего лицо официанта. – Ты к ней запить что-нибудь принеси. Какого-нибудь сока томатного.

– Да. «Столичную», – подтвердил Фёдор, не сводившему с него глаз и удручённому тем, что был вынужден огорчить отказом, Карпычу.

– Значит, «Столичная», четырёста и томатного, – повторил Карпыч вслух, что-то в уме соображая и наконец, согласно кивнув, удалился в дверь, располагавшуюся слева от эстрады и тот час возвратился с водкой, соком и пожеланием «приятного аппетита».

Не успели друзья налить водку, из стеклянного с золотым ободком графинчика, в рюмки с такими же ободками, как закончившие к этому времени очередную песню цыгане, сойдя с невысокой эстрады, обступили их столик плотным кольцом и стали петь заздравную, поминая Удовиченко по имени. Степан встал из-за стола, и под переливчатые голоса и гитарный звон, медленно, на показ, выпил налитую рюмку до дна.

Заметив бородача, наблюдавшего за происходящим с лёгкой ухмылкой, Степан подозвал его к столику.

Это был широкоплечий, широкогрудый мужик лет пятидесяти, с длинными сильными руками, с рыжей бородой, с редкими, но крепкими зубами. Одет он был в белую, широкую рубашку навывпуск, с вышитыми на груди красными райскими птицами, клювами повёрнутыми друг к дружке.

– Емельян, признайся, ты цыгану натравил? – Тихо спросил Степан у подошедшего бородача и предложил ему присесть.

– Попозднее, – неопределённо ответил Емельян и стремительно удалился.

– Ну, смотри, – сказал Степан более для себя, нежели для убежавшего бородача, и принялся за горячее, догоняя Фёдора, который пропустив пятьдесят, поглощал борщ.

С эстрады запели. Цыган, не старый, но совершенно седой, пел незнакомую песню, понравившуюся Фёдору. Подняв рюмку, Фёдор показал баритону, что пьёт, за него. Певец улыбнулся и в знак благодарности кивнул головой. После незнакомой цыганской песни, хор, помогавший солисту, ушёл, оставив его одного. Подтянув колки и не глядя в зал, баритон запел грустную, русскую песню, смысл которой сводился к тому, что жизнь грязна и что сам он снаружи замаран, но, несмотря на это просит помнить, что душа его чиста. Эта песня так понравилась пьянствующим, что вызвала целую бурю оваций. Исполнитель долго кланялся, прикладывая руку к груди, но больше петь не стал. Убежал в дверь, слева от эстрады, туда, куда ушли его цыгане.

В ресторане стало шумно. К столику подошёл Марко и сказал Степану так, что бы слышал и Фёдор, что Корней Кондратьевич занят и принять их не сможет. Степан встал из-за стола, и ничего не говоря, шмыгнул туда, откуда принесли водку и куда с такой охотой прятались артисты. Марко, поглядев ему в след и не глядя на Фёдора, не спеша направился к двери, через которую друзья вошли в ресторан.

Просидев пять минут в неизвестности, Фёдор пошёл искать Степана. Войдя в таинственную дверь, что от эстрады слева, он почувствовал себя странником, стоящим на распутье. Вся разница между ними заключалась в том, что странник выбирал дорогу, а Фёдору приходилось выбирать дверь. В коридоре их было три. Одинаковые и цветом, и размером, и тем, что все были закрыты.

Открывая двери по очереди, он за первой обнаружил варочный цех с электроплитами, поварами и обслуживающей. За второй, комнату отдыха. В ней сидели цыгане, так славно певшие и веселившие публику. Определив с первого взгляда, что Степана среди них нет, Фёдор оставил артистов в покое и направился к третьей, которой заканчивался коридор. За дверью оказалась лестница. Поднявшись по ней на второй этаж, проход на первый был закрыт, он столкнулся нос к носу со Степаном, лицо у которого было красным, как у девицы, когда той стыдно.

– Не сидится? – Спросил Степан раздраженным голосом и, взяв Фёдора за локоть, повёл его по этажу, к открытой настежь двери. Он был сильно возбуждён, таким Фёдор его никогда не видел.

Твёрдо шагая, Степан ввёл друга в комнату. Это была чья-то спальня. Первое, что Фёдору бросилось в глаза, была огромная кровать, на которой, смеясь и барахтаясь, совершенно голый мужчина то ли боролся, то ли занимался чем-то похожим на борьбу с голой женщиной. Они были, как казалось, очень увлечены и ничего не хотели замечать. На стуле, стоявшем рядом с кроватью, сидел смазливый молодой человек, одетый в кожаную короткую куртку на молниях, кожаные штаны и остроносые сапожки на высоком каблуке. Вместо ремня он был подпоясан блестящим, цвета морской волны, платком. Второй, такой же платок, был надет на голову и подвязан узлом, что делало его похожим на пирата. Под курткой у него была цветастая рубашка, в ухе блестело золотое кольцо, глаза скрывались за тёмными очками. Кожа лица была гладко выбрита и намазана жирным слоем крема. От него пахло духами. Положив ногу на ногу и держа в руках одежду борющихся, «пират» бесстрастно следил за борьбой. Вся эта картина была так неожиданна для Фёдора, оказавшегося по воле Степана свидетелем происходящего, что он остолбенел и был не в состоянии сдвинуться с места. Степан же вёл себя иначе. Оставив друга стоять и столбенеть, подошёл к кровати и, не обращая внимания на «пирата», голосом человека до глубины души оскорблённого, сказал:

– Корней Кондратьич, кто мне слово давал? Кто просил прийти? А ведь я, как вы просили, с другом пришёл. Что он о нас подумает?

– А-а-а, Стефану! – Ответил ему расслабленный мужской голос. – Не сердчай. Сегодня праздник, такой день, а ты кричишь! – Он засмеялся и добавил. – Давай, лезь к нам!

Далее события развивались со стремительной быстротой. Фёдор успел только заметить оставившего «борцов» и кинувшегося в его сторону Степана, после чего сразу же ощутил, что кто-то, крепкой рукой взяв его за волосы, наклоняет голову назад и тащит к выходу. Вторая рука невидимки заботливо упиралась в его спину, как бы поддерживая, что бы он при быстрой ходьбе спиной вперёд не потерял бы равновесие и не упал. О скорости, с которой он шёл, Фёдор мог судить по проплывавшему над ним потолку. Но до той, открытой настежь двери, в которую они вошли, невидимка его не довёл. Уже в процессе ходьбы спиной вперёд Фёдор почувствовал, что его голову не так сильно запрокидывают и что подстраховочную руку убрали со спины. В это же время слышались удары, которые судя по всему, невидимке наносил Степан. В это же время мужчина-борец, находившийся на кровати, которому всё происходящее было виднее, чем Фёдору, кричал уже не расслабленным, а сильным и повелительным голосом:

– Стефан! Бодя! Да, шо ж это вы?

В тот момент, когда Фёдор почувствовал, что за волосы его более не держат, вся возня, происходящая вокруг него, закончилась. За несколько мгновений до того, как его отпустили, он услышал хлесткий удар, после которого, Степан упал во весь свой рост на спину, ударившись при этом затылком об пол. Полежав долгих секунд пять неподвижно, он стал медленно вставать, но сил хватило только на то, что бы сесть и покачать головой. За это время мужчина-борец, которым оказался Черногуз, слез с кровати, повелительно махнул рукой сбившему Степана с ног, что означало – скройся, и, оторвав рукав у лёгкого женского платья, подсел к потерпевшему, так и оставаясь в чём мать родила.

Тащившим Фёдора за волосы невидимкой оказался тот самый парень, что встретил их перед входом в дом. Платье, лёгкое, женское, было взято из рук у «пирата», который, не вставая со стула, наблюдал за происходящим. Вытирая оторванным рукавом кровь, стекавшую у Степана с губы на подбородок, Черногуз с материнской нежностью говорил:

– Хвилипп. Точный Хвилипп. Тот тоже соби завсегда драку найдет. Як тоби дурний Бодю. Ну, ну. Шо ты? Я тихонечко.

Черногуз был среднего роста, на вид лет пятидесяти, моложавый, с жёсткими, короткими волосами чёрного цвета, щёткой торчавшими вверх. Светло-серые глаза его были неподвижны и обладали тяжёлым всевидящим взглядом, как у какой-нибудь злой куклы из театра марионеток. Зубы были на редкость крепкие, тесно один к одному прижатые. Лицо широкое, лоб с залысинами, нос толстый, приплюснутый, скулы чрезмерно выдававшиеся вперёд. Голос был низкий, грудной. В данную минуту говорил ласково, нежно, так, что голос низким не казался. Слушая его, Фёдор чувствовал себя неловко, а Черногуз продолжал своё, будто не было в комнате никого, а были только они, вдвоём со Степаном.

– Ой, Бодя, собачий потрох! Мы з им чикаться не будем. Як шёлковый ву нас будет. Мы станем Богдану мстить, – говорил он. – Мы ведь станем Богдану мстить? Станем. Станем мстить дурному Бодю, шо бы руки в его поотсохли. Шо бы поотсохли, а подняться не могли.

Женщина, которая всё это время лежала в постели, на спине, заложив руки за голову, не став долее терпеть, встала и никого не стесняясь, медленно, стала одеваться, начиная с нижнего белья. Ею оказалась совсем ещё молодая девушка, на вид лет двадцати, блондинка с голубыми, необыкновенно живыми глазами. Она ни на кого не смотрела и, казалось, не слышала тех нежных слов, которыми Черногуз обволакивал сидевшего на полу Степана. Единственная реакция, выразившаяся в удивлении, появилась на её хорошеньком личике только тогда, когда надев своё платье, она обнаружила, что одного рукава на нём нет. Но и это её занимало не долго. Она равнодушно вынула торчавшие в месте отрыва ниточки и, пройдя мимо всех, ни на кого не взглянув, вышла из комнаты.

– Развратом занимаетесь, Корней Кондратьич, – сказал Степан слабым голосом, начиная потихоньку приходить в себя.

– Шо ты, Стефану! – Вскрикнул от радости Черногуз. – Побойся ж Бога, в моём то возрасте! То так, гимнастика. Зарядка. Упражнения для мышц живота.

Довольный своей шуткой он негромко засмеялся.

– Да, вставай же уже, – отсмеявшись, сказал он, похлопывая Степана по спине, и забирая у сидящего на стуле «пирата» рубашку и брюки, заговорил неприкрыто льстивым голосом:

– Зараз айда в кабинет. Я, ты и твой перший друже. Ой, и якие ж у тоби очи, Стефану! Я в моложести такие ж имел. А теперь выцвели, стали серебряные, як у ворона. Зайдём, пропустим по шкалику, сегодня же праздник, мой день рожденья. А Богдану отомстим, сегодня же.

Обращаясь к Фёдору, он с излишним подобострастием в голосе, никак не шедшим к его суровой внешности, спросил:

– Як вы, по шкалику? Не откажитесь? Вот и гарно. Прошу до мени.

Через пять минут Черногуз, Степан и Фёдор сидели в кабинете Корнея Кондратьевича, располагавшемся на третьем этаже, обставленном пёстрой, мягкой мебелью. Хозяин, устроившись в крутящемся, единственно не мягком кресле, разливал поллитровую бутылку «Московской особой» в три хрустальных стакана.

«Ничего себе, чисто символически, – подумал Фёдор. – И попробуй, откажись».

Корней Кондратьевич поднял стакан, чокнулся и, сказав: «за знаёмство» хотел выпить, но остановился.

– Хотите, зараз скажу тост моей юности? – Спросил он.

Друзья закивали головами.

– Произносится он так, – начал Черногуз, припоминая, —

В русской водке есть витамин – казал Хо Ши Мин.

Да, ну? – казал Ану.

А Хрущёв Микита, казал – Пьём до сыта,

За шо, инной раз по пьянке, бувае и морда бита.

За старое, за новое, за влюблённых, за разведённых,

И за сто лет вперёд!

Стол, за которым сидели, был оригинальной конструкции – на четырёх деревянных подпорках лежало круглое, толстое стекло. На стекле, то есть на столе, присутствовали почти все виды холодных закусок. Маринованные грибы, чеснок, черемша, квашеная капуста, солёные огурчики, икра чёрная и красная, свежие помидоры, сельдь, перец, ветчина, осетрина горячего копчения, лимон, клюква и многое другое, в чём не было совершенно никакой надобности. Главное, была рассыпчатая, отварная картошка и хлеб – царь стола.

У Черногуза, когда он пил свою водку, брови ходили ходуном, то опускались, то поднимались, и это со стороны выглядело смешно. Выпив, Черногуз взял серебряной большой ложкой несколько грибов и отправил их в рот. Пережёвывая грибы, поднял большой палец вверх, что должно было означать «хорошо» или «очень хорошо».

Следом за хозяином, так же спокойно, как воду из родника, выпил свою водку Степан. Отказавшись жестом от грибов, предложенных ему на ложке Черногузом, он взял свежий, красный помидор и прокусив помидору кожу, подобно вампиру, пьющему кровь из жертвы, высосал из него сок. Фёдор, совершенно не пьющий и никогда такими дозами не потреблявший, убедив себя, что это необходимо, кое-как с приложенным усилием допил свой стакан до дна.

– Вот и добре, – сказал Черногуз, глядя на Фёдора увлажнившимися от умиления глазами.

После выпитой водки разговор пошёл как по маслу. Фёдор, почувствовав расположение к неизвестному дотоле родственнику Степана, так хлебосольно их встретившему, стал подробно объяснять ситуацию. Говорил, что деньги нужны не ему, а хорошим людям, кинематографистам, для того, что бы снимать им своё кино.

Черногуз подтверждал обещания, говорил, что от слов своих не отказывается и готов дать любые деньги, какие бы у него не спросили, тем более хорошим людям.

– Меня уже ничего не радует, – говорил он, – разве шо радость друзей. Так шо, добро я с корыстью делаю. Друзьям радость, мне корысть.

– Побольше бы таких корыстных, – сказал Степан, сидевший рядом с Черногузом.

Дядя мгновенно прослезился, обнял Степана за шею и прижал его голову к своей. Сделано всё это было от переизбытка чувств, вскоре он племянника отпустил и стал есть, часто моргая, что бы не вытирать выступившие слёзы. Увлекаясь новым делом, Корней Кондратьевич пообещал даже надавить на главное лицо, от которого всё в «этом кино» зависит. Разойдясь, предложил, для большей стоворчивости главного лица, взять да и убить одного человека из его окружения. Последнее, что Фёдор запомнил, перед тем, как отключился, были его собственные слова – просьба ни в коем случае никого не убивать.

Придя в себя, а точнее, очнувшись после мгновенного, по его ощущениям забытья, он обнаружил, что находится в кабинете совсем один, и что все вещи, окружавшие его, изменились, ожили. Весь мир как-то сразу преобразился. Ощущая страшную и в то же время приятную усталость, он себе сознался в том, что всё наблюдаемое им теперь выглядит забавно. Он смотрел на те два аквариума, знакомые по рассказу Степана, в одном из которых плавали гуппи, а в другом – бычки, на стол с закуской, на окно, на стены и вдруг перед ним появился, взявшийся неведомо откуда, толстый сиамский кот. Фёдор наклонился к коту и хотел его погладить, но на это желание кот ответил ударом лапы и оскалом клыков. Однако от предложенной осетрины не отказался и, схватив кусок зубами покрепче, кот скрылся за креслом. Поднявшись с неправдоподобно мягкого кресла, сидя в котором, просто утопал, Фёдор понял, что плохо управляем и не ему теперь бегать за котом. Хотел сесть, но услышав, что где-то очень близко звучит музыка, отправился в соседнюю комнату, где нашёл Степана и Черногуза.

Степан сидел за блестящим чёрным роялем и играл на нём, а Черногуз, стоявший у него за спиной, плакал. Обратив рассеянное внимание на появившегося Фёдора, не способного даже на месте твёрдо стоять, Черногуз, смахнув слезу, предложил:

– Может, приляжете?

– Конечно, – поддержал его Степан, переставший играть. – Он же всю ночь не спал, буквы вырисовывал, а мы и днём не дали. Давай, Макейчик, прикорни, а я тебя через час разбужу.

Фёдор, не имевший привычки спать, где бы то ни было, кроме своей постели, неожиданно для себя согласно закивал головой и через пять минут был Степаном раздет и уложен в широкую, мягкую постель, находившуюся в комнате, следующей за той, в которой стоял рояль. Для того что бы выйти из неё, необходимо было пройти через комнату с роялем и кабинет.

* * *

В два часа по полудню, как и было условлено, Максим звонил Ольге. Состоялся следующий разговор:

– Максим? Какой Максим? Постойте, припомню. Ах да, Максим, вспомнила. Вы тот самый молодой мужчина с мечтательным взглядом, которого я встретила утром. У вас ведь карие глаза? Правильно? Слушайте. Вы сможете завтра, в пятницу, в восемь часов вечера, быть на скамейке у Пассажа? Там, через дорогу от здания, есть замечательные белые скамейки.

– Я не знаю, где находится Пассаж. А он не в Ленинграде?

– Нет. В Ленинграде Эрмитаж, а Пассаж, Петровский Пассаж, тот как раз в Москве. Хорошо. Кинотеатр «Ударник» знаете?

– Знаю.

– Очень хорошо. Напротив, через автомагистраль, есть фонтан и площадка. Знаете?

– Знаю.

– И там вокруг фонтана, по краям площадки тоже есть скамейки и, если не ошибаюсь, они тоже белого цвета. И скажите, в чём вы будете? Во что будете одеты?

– В джинсы и рубашку вишнёвого цвета.

– Хорошо. Завтра, в пятницу, в двадцать часов, на скамейке у фонтана напротив «Ударника». Всё правильно? Запомнили?

– Да.

– И дайте телефон вашего друга. Кажется, его зовут Назаром?

– Да. Записывайте.

* * *

Федор не знал, что его положили в кровать самого Черногуза. Спал долго, сладко. Проснувшись, обнаружил, что за окном темно. Заметив тоненькую полоску электрического света, идущего из комнаты, где стоял рояль, тихо встал и подошёл к приоткрытой двери. Он не открыл и не закрыл дверь, просто стал смотреть в щель, совершенно не думая о том, прилично это или не очень.

В освещённой комнате, к нему спиной, на мягком табурете сидела женщина и смотрелась в зеркало. Ей было лет тридцать, была она одета в длинное, чёрное платье, усыпанное серебряными блёсками. За её спиной стоял Черногуз и с любовью расчёсывал её красивые, пышные, рыжие волосы. В его руке был деревянный гребень с крупными, редкими зубьями. Черногуз, расчёсывая волосы, говорил, что у него в молодости глаза тоже были синие, а теперь стали серебряные, как у ворона, затем, возвращаясь к прежде заданному вопросу, на который он, судя по всему, не очень хотел отвечать, стал рассказывать:

– Что мне тогда было? Восемнадцать лет. Бедовый был, несло, всё к тому и шло.

– А как там? – Спросила обладательница роскошных рыжих волос, нисколько не затрудняясь тем, что Корней Кондратьевич не желал об этом говорить.

– Да, так, Милена, – сердито сказал Черногуз, но тут же, взяв себя в руки, снова заговорил приветливо. – Нормально. Как в санатории. Такие же люди. Такая же жизнь. Всё, как здесь. Работал на фабрике, делал табуретки. Табуретка в день – норма. Сделал, отдыхай.

– А за что вас?

– За глупость, Милена. За глупость. Человека в компании убили. Ну, и я пинал его, ударил ногой раза два. За это на десять лет и пошёл. А тогда ведь как сидели? Не так, как теперь. Сидели и не знали, когда выпустят. Но я, правда, не досидел. Вместо десяти – отсидел девять лет и девять месяцев. Так-то вот. Отсидел, поехал в Мариуполь. Десять лет моря не видел, а я ведь вырос на море. Пошёл на базар, купил «колхозниц» две авоськи, есть у дыни сорт такой, маленькие и сладкие. И с этими авоськами на море.

Черногуз замолчал, нижняя челюсть у него задрожала, и он в голос зарыдал, но, мгновенно перехватив дыхание, пришёл в себя.

– Что вы, не надо, – сказала Милена, испугавшись.

– Не буду, не буду, – успокоил её Черногуз и, продолжая расчёсывать давно уже расчёсанные волосы, снова стал рассказывать. – На пляже сидят все довольные, загорелые, улыбаются, а я как мертвец – белый как мел, а местами и синий. Постеснялся я тогда даже раздеться. Брюки снял, носки снял, а рубашку оставил. Так, в трусах и рубашке, купаться и пошёл. Зашёл в море по колено и захмелел. Дальше идти не могу. Знаешь, штуки выделять стал. Стал зачёрпывать воду и подбрасывать на воздух. Вода рассыпается брызгами и так часа три стоял и подбрасывал. Люди смеялись надо мной, но мне не смешно было. Мне было страшно. Страшно было думать, что вот так, могут взять живого человека и от моря, на котором он вырос, спрятать на десять лет.

«А убивать людей в компании было не страшно?» – мысленно спросил у Черногуза Фёдор. И удивляясь тому, что Корней Кондратьевич может говорить без акцента, вернулся в постель. Лёг под одеяло, собираясь с минуту полежать, но, не заметно для себя, уснул.

* * *

Только на следующий день, после неожиданной встречи в коридоре, Галина нашла в себе силы и постучалась в дверь коммунальной соседки.

– Да, да. Входите, – услышала она из-за двери мужской голос.

Галя вошла и сразу сказала:

– Я извиняться пришла.

– Извиняться? Ах, вы про то. Я, не обиделся, – сказал незнакомец довольно искренно.

– Всё равно извините. Не для вас, для себя прошу, – настаивала Галина и, опасаясь, что её не поняли, заторопилась с объяснениями. – У моего старшего брата есть друг, Степан Удовиченко. Когда-то он жил здесь, этажом выше, мы вместе росли. Так вот он, полгода назад, извинился за то, что подставил мне в детстве ножку. Я споткнулась об эту ножку, упала и разбила себе лоб. Представьте, я этого совсем не помню, а он помнил, жил с этим, и только полгода назад извинился. Я не помнила, а он извинился, значит это не мне, а ему было нужно. Вот. А теперь это нужно мне. Честное слово, не знаю, как с языка сорвалось. Представьте себя на моём месте, я перепугалась. Простите меня. Мне очень стыдно.

Сказав последние слова, Галина покраснела и простояла в молчании довольно долго, а так как сидевший в инвалидном кресле забыл её простить, задумался и тоже молчал, она после продолжительной паузы снова заговорила:

– А ещё спросить пришла. Вам ничего не нужно? А то уже сутки прошли. Вы один, Ефросиньи Герасимовны что-то нет, и может вам в магазине... Мне не трудно и вам заодно покупать. Ой, что это? – Вскрикнув, спросила Галя, увидев в руках незнакомца длинный резной мундштук.

– Это для вас, – застенчиво сказал он, протягивая мундштук.

– Это вы слышали, как я с Вандой разговаривала? Ой, какой красивый! Спасибо. Но я должна кое в чём признаться. Должна правду сказать. Тут такое дело. Та девушка, что звонила, её Вандой зовут, она режиссёр, то есть, будущий режиссёр, я на актрису учусь, а она на режиссёра. Но, из неё, как мне кажется, если режиссёр и получится, то очень слабый. И как у всех слабых режиссёров, у неё замах на великих. Год назад делали с ней отрывок из «Вишнёвого сада» и теперь, когда я уже успела забыть о своём позоре, отрывок не получился, она хочет его восстановить и показать. Так что я просто отказаться таким образом хотела. Мундштук я для отговорки придумала. Пусть, думаю, ищет. Где такой найдёшь?

Галя повертела мундштук в руках, поднесла его к губам и сделала вид, что затягивается, но тут же отвела руку в сторону и, как бы оправдываясь, сказала. – Я не курю, вы не подумайте. А, как вы его сделали? Из чего?

– Тут у Ефросиньи Герасимовны целая гора хвороста, я не знаю, откуда он и для чего, но думаю, от одной хворостинки большого ущерба не будет. Взял ореховый прут, из него ножом и вырезал. Нож у меня на брелке от ключей. Ключей вот нет, а брелок остался. Смешно, не правда ли? – Сказал незнакомец, с грустью о чём-то подумав.

– Да, действительно смешно. То есть нет, не смешно, – ответила Галина. – А откуда хворост и для чего, я знаю. Хотите, расскажу? Мой младший брат, Максим, по-моему, ещё в марте или апреле, сказал Ефросиньи Герасимовне, что на Птичьем рынке продают обычные палочки, но очень дорого, потому что используют их как жёрдочки для птиц в клетках. Вот тогда она не поленилась, в лес за город ездила, кажется, в Раздоры, орешник там резала, вот откуда палочки. Она тогда этим горела, спрашивала у Максима, какими по размеру палочки делать, как кору счищать. Вон, видите, там у неё несколько штук совсем готовых есть. Да, тогда она загорелась, но горела не долго. Пришли её друзья: участковый Коля Шафгин, да жэковский монтер Лёня и остудили. Потом свадьбы пошли, похороны, Фросе, простите, Ефросиньи Герасимовне и вовсе не до палочек стало. Я может быть, некрасиво поступаю, рассказывая вам всё это, ведь она ваша родственница, но поверьте, всё это не сплетни какие-нибудь, всё это правда. Вы же, наверное, не знаете, так знайте, что если свадьба где, или похороны, то Ефросинья Герасимовна уже там. Помню, зимой кого-то хоронили, так она выскочила из своей комнаты вся заспанная, в чём была, как я вчера к телефону. Спрашивает у брата: «Максимушка, что за музыка, никак хоронят?». И не умываясь, накинула на себя, как бурку, своё пальтецо, ноги в валенки и бегом за процессией. А после напьётся и до дома не дойдёт. Соседи приходят и говорят: «заберите, спит на лестнице». Фёдор с Максимом идут и тащат её. И хоть бы насморк какой. Тут у нас, на этот счёт давние традиции. С самого детства у меня в памяти Хавронья, дворничиха, не тем будь помянута, та тоже любила на лестнице спать. А то как-то пришла Ефросинья Герасимовна вся в слезах, жаловалась, что прохожий детей угостил леденцами, а ей леденцов не дал, не смотря на то, что они все вместе на одной скамейке сидели. Плакала и кричала: «Что я, не человек?». Она действительно порою, как ребёнок, а порою – прямо сатана. Она любит рассказывать, что работала с семи лет, что двадцать лет отдала заводу, ишача на штамповке. Про завод я не знаю, но точно знаю, что трудилась она в Столе заказов, выдавала инвалидам и ветеранам наборы, обманывала, как могла, пока на этом тёплом месте её не подсадили. Знаю, что работала проводницей, возила яйца и лук в Якутию, мастерила к Пасхе и продавала на кладбище бумажные цветы. А последнюю неделю только о том и говорила, что заработала много денег и теперь поедет в Трускавец, лечить большую печень. Собрала вещи, попрощалась, и вдруг, появляется вы в кресле и Максим с просьбой передать вам от Ефросиньи Герасимовны слово: «Живи. Поехала лечиться, как вылечусь, вернусь». Конечно не моё это дело, но кажется, вы ею жестоко обмануты. – Галина замолчала и, решив, что действительно наговорила много лишнего, снова перебралась на мундштук. – Ой, а как тут отверстие у вас? Как вы сделали? Это же невозможно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.